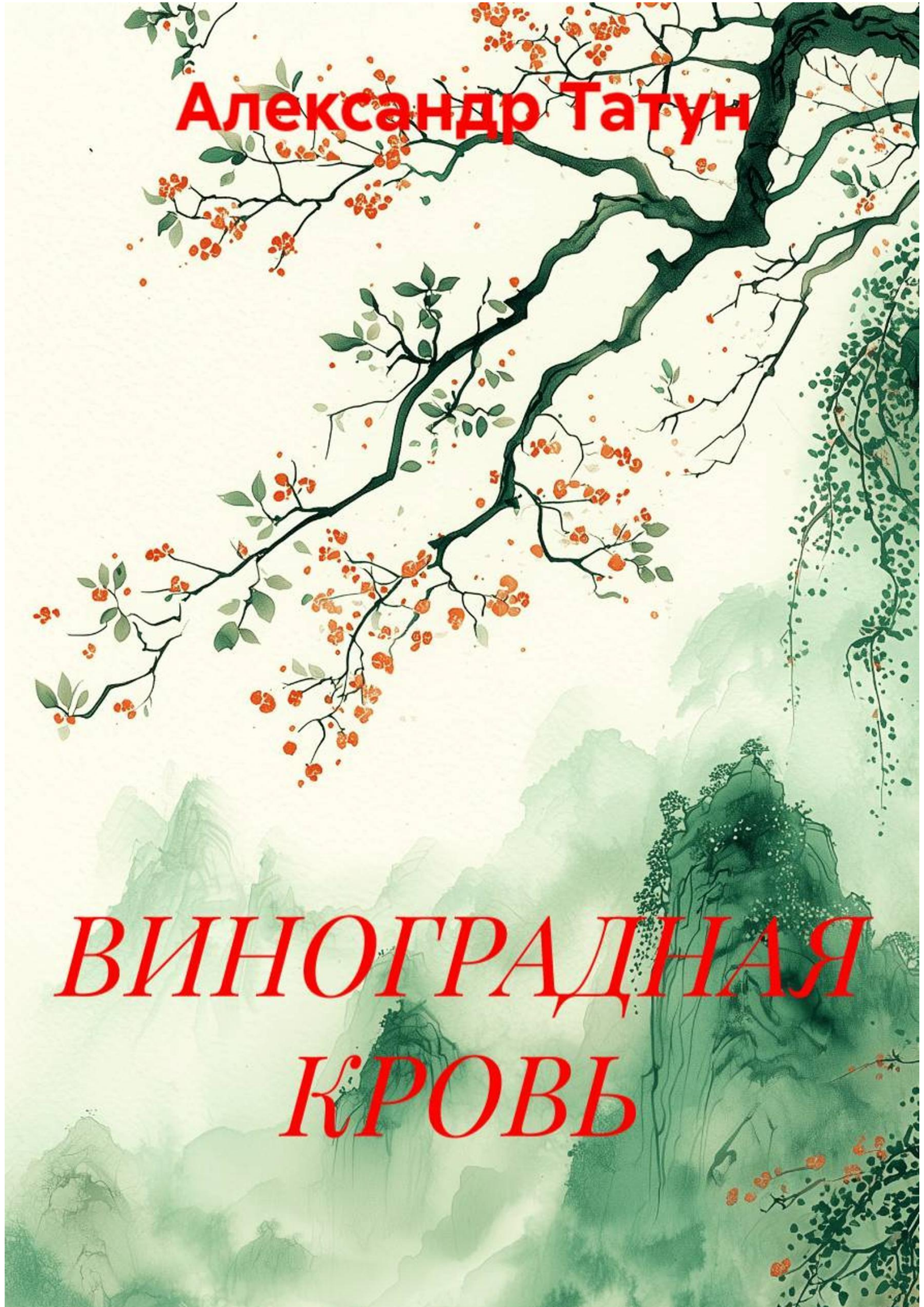

Александр Татун
ВИНОГРАДНАЯ КРОВЬ

Александр Татун

ВИНОГРАДНАЯ КРОВЬ

«Автор»
2026

Татун А.

ВИНОГРАДНАЯ КРОВЬ / А. Татун — «Автор», 2026

Франция, Бургундия, конец XIX века. Жанна Бонне остаётся одна с долгами отца, больной лозой и молвой, которая не прощает. Когда в деревне появляется молчаливый батрак Люк, она не ищет любви — ей нужно выжить. Но у Люка есть тайна: он незаконнорождённый сын графа, и он вернулся не только за работой. В старом сундуке Жанна находит метрику, которая может изменить всё — или разрушить.Пока филоксера съедает виноградники, а кредитор ждёт первого ноября, Жанна и Люк учатся доверять друг другу. Но социальная пропасть, страх и чужие интересы сильнее чувств. Люк готов отказаться от титула, чтобы спасти её землю. Жанна готова отказаться от него, чтобы он не стал её жертвой.Это история о корне, который держит человека на земле. О выборе между любовью и достоинством. О горьком винограде, из которого иногда получается самое честное вино.

© Татун А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сбор винограда 6
Глава 2. Вода и гордость 12
Глава 3. Мадлен и цена слухов 19
Глава 4. Старый сундук 27
Глава 5. Клеман и старая лоза 34
Глава 6. Пощёчина 42
Глава 7. Старая Маргарита 48
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Александр Татун
ВИНОГРАДНАЯ КРОВЬ

ВИНОГРАДНАЯ КРОВЬ

Глава 1. Сбор винограда

Утро пахло кислицей и пылью. Жанна стояла на меже, уперев руки в боки, и смотрела, как первые корзины наполняются тёмными гроздьями. Виноград в этом году уродился мелкий, но сладкий — солнце июля выжгло лишнюю воду, и ягода стала плотной, как дробь. Она отщипнула одну, раздавила языком. Кожура лопнула с тихим щелчком, сок обжёг нёбо, оставил на пальцах липкий след, пахнущий кислым железом и мёдом. Хороший знак. Если погода продержится ещё неделю, они успеют собрать всё до дождей.

— Жанна! — крикнула Мадлен от третьего ряда. — Ты собираешься работать или так и будешь стоять столбом?

— Я думаю, — отозвалась она, вытирая пальцы о передник. — Это тебе не мешки ворочать.

— Ага. Видела я, как ты думаешь. Вон та лоза уже три дня не обрезана, а ты всё думаешь.

Жанна усмехнулась и двинулась вдоль ряда. Лозы тянулись к небу корявыми пальцами, отягощённые гроздьями так, что подвязки натянулись до звона. Она поправила одну, проверила другую. Земля под ногами была сухой, потрескавшейся — дождей не было с начала месяца. Хорошо для винограда, плохо для колодца. Отец уехал в Париж три недели назад, обещал вернуться к сбору, но от него не было ни письма, ни весточки. Жанна гнала от себя тревогу, как муху от лица: отгоняешь — возвращается.

Дома, на полке у очага, лежала его трубка. Он забыл её — или оставил нарочно, как якорь, чтобы было куда вернуться. Жанна иногда брала её в руки, крутила в пальцах, чувствуя запах старого табака и кислого дерева. Трубка была тёплой, если подержать долго. Как будто отец только что вышел за дверь и вот-вот вернётся.

— Новенький пришёл, — сказала Мадлен, кивнув в сторону дороги. — Тот, что у мельника ночевал. Говорят, из Лиона.

Жанна обернулась. По тропе между рядами шёл мужчина лет двадцати семи, широкоплечий, в серой рубахе с закатанными рукавами. Она отметила про себя: руки тяжёлые, мозолистые, но держит их свободно, не прячет. Шрам на подбородке — старый, белый, как высохшая речная отмель. Лицо загорелое до цвета коры, глаза тёмные, внимательные. Он нёс две пустые корзины, по одной в каждой руке, и шёл так, будто делал это всю жизнь.

— Это ты Люк? — спросила Жанна, когда он подошёл ближе. — Мельник сказал, ты умеешь обрезать лозу.

— Умею.

— А собирать?

— Тоже умею.

Она прищурилась. Немногословность её не смущала — она сама не любила болтунов. Но в его молчании было что-то ещё, какая-то внутренняя собранность, будто он всё время прислушивался к чему-то за спиной.

— Хорошо, — сказала она. — Вставай в четвёртый ряд, там Томас не успевает. Корзины ставить под лозу, не на землю. Ягоду не давить. Если увидишь гниль — откладывай отдельно, я проверю. И вот ту лозу, — она показала на крайнюю в ряду, с мелкими, ещё зелёными гроздьями, — не трогай. Она слабая, я её на следующий год оставляю.

Он кивнул и пошёл в указанном направлении. Жанна смотрела ему вслед: широкая спина, ровный шаг, голова чуть наклонена вперёд, как у человека, привыкшего идти против ветра. Мадлен подошла сзади, ткнула её локтем.

— Красивый.

— Батрак.

— И что? У батраков руки тоже есть.

— У тебя одно на уме, — отрезала Жанна, но щёки всё-таки порозовели. Она отвернулась и взялась за работу.

К полудню солнце поднялось в зенит и стало бить прямо в затылок. Жанна сняла платок, повязала его на пояс. Волосы прилипли ко лбу, рубаха под мышками потемнела от пота. Она таскала корзины к телеге, стоявшей у межи, и на четвёртом рейсе заметила, что кто-то уже переставил полные корзины ближе к дороге, а пустые разложил по рядам. Мелочь, но полезная. Она оглянулась. Люк работал в четвёртом ряду, не поднимая головы. Руки двигались быстро и точно: срезал гроздь, осматривал, отбрасывал гнилую ягоду, клал в корзину. Ни одного лишнего движения.

А потом она увидела, как он срезал ту самую слабую лозу. Ту, которую она велела не трогать. Срезал под корень, одним движением, и бросил в корзину с зелёными гроздьями.

Жанна остановилась. Внутри что-то дёрнулось — не злость, а досада, острая, как заноза.

— Люк! — крикнула она, подходя быстрым шагом. — Я же сказала: эту не трогать.

Он обернулся. Посмотрел на лозу в корзине, потом на неё. На секунду в его глазах мелькнуло что-то — растерянность? — но тут же исчезло.

— Виноват, — сказал он коротко. — Не разглядел.

— Не разглядел, — повторила она, чувствуя, как раздражение накатывает волной. — Я тебе пальцем показала. Вот эта. С краю. С зелёными гроздьями.

— Понял. Больше не повторится.

Он не оправдывался, не бормотал извинений. Просто стоял и смотрел, и в этом спокойном взгляде было что-то, что остудило её быстрее любого крика. Жанна вздохнула, вытерла лоб.

— Ладно. Срежь ещё две такие же в конце ряда, если увидишь. Но больше — ни-ни. Понял?

— Понял.

Она отвернулась и пошла к телеге. Внутри всё ещё скребло, но злости уже не было. Только странное чувство, будто она только что увидела трещину в гладкой стене — и не знала, что за ней.

— Ты откуда? — спросила она, когда он подошёл с полной корзиной.

Люк не сразу ответил. Большой палец правой руки медленно прошёл по шраму на подбородке — слева направо, один раз. Будто стирал что-то невидимое.

— Из Лиона.

— А до Лиона?

Палец замер у шрама, но дальше не пошёл. Люк помолчал, потом сказал:

— Из разных мест.

Жанна отметила про себя: палец не двинулся дальше. Значит, не врёт. Но и не говорит. Она хмыкнула, но вслух ничего не сказала. Скрытный. Ну и ладно. У неё своих забот хватало: отец не пишет, кредиторы не спят, а тут ещё этот молчаливый тип с глазами, как у собаки, которую били, но которая всё ещё верит, что её могут погладить.

— Вода есть? — спросил он, не поднимая головы.

— В бочке у телеги. Ковш там же.

Он кивнул и продолжил работать. Жанна постояла ещё немного, наблюдая, как он обрезает лишние листья, открывая гроздья солнцу. Делал он это уверенно, с каким-то даже изяществом, будто не лозу трогал, а расчёсывал волосы ребёнку. Она поймала себя на том, что смотрит слишком долго, и ушла.

После полудня пришли женщины из деревни — помогать. Мадлен привела сестру, вдова Соланж привела двух дочерей. Работа пошла веселее: слышались шутки, смех, кто-то запел старую песню про виноградаря, который любил три вещи: вино, жену и свою лозу. Жанна подхватила припев, но вполголоса, потому что голос у неё был не ахти какой.

Люк работал молча. Женщины косились на него, перешёптывались. Жанна слышала обрывки: «...из Лиона...», «...шрам...», «...говорят, нищий...».

— А батрак-то не промах, — сказала вдруг Соланж, вытирая руки о передник. — Уже и жильё ему нашли. И работа есть. Глядишь, к зиме и женится.

— На ком? — спросила Мадлен, усмехаясь.

— На ком-нибудь. Вон, девки на него уже засматриваются.

Жанна промолчала. Она видела, как одна из дочерей Соланж, румяная девчонка лет семнадцати, то и дело бросает взгляды в сторону четвёртого ряда. Люк не поднимал головы. Работал.

— Деревня всегда найдёт, о чём почесать язык, — сказала Жанна, ни к кому не обращаясь. — Это как дождь, бесполезно злиться.

Соланж посмотрела на неё внимательно, но ничего не сказала.

Ближе к вечеру мимо прошёл Тома, сын мельника. Высокий, румяный, в чистой рубахе — он всегда ходил так, будто только что переоделся. Остановился, посмотрел на Жанну, потом на Люка, который как раз тащил корзину к телеге. Ничего не сказал. Только кивнул Жанне — коротко, с достоинством — и пошёл дальше. Но Жанна заметила, как он скользнул взглядом по Люку. Оценивающе. Как смотрят на чужую собаку, которая забрела во двор.

— Чего это он? — спросила Мадлен, подходя.

— Ничего, — сказала Жанна. — Идёт себе.

— Ага. Идёт. Только ты бы, Жанна, подумала. Тома — завидный жених. Мельница, дом, хозяйство. А ты с батраком шушукаешься.

— Я с ним работаю, а не шушукаюсь.

— Работаешь, — согласилась Мадлен. — Только работа работой, а деревня уже смотрит. И не на него смотрит, а на тебя.

Жанна ничего не ответила. Подхватила корзину и пошла к телеге.

К закату первый участок был собран. Телега стояла гружёная, корзины накрыты мешковиной, чтобы не села роса. Жанна обходила ряды, проверяя, не осталось ли пропущенных гроздьев. В четвёртом ряду она нашла три корзины, аккуратно составленные одна в другую, и рядом — сложенный вчетверо кусок холста, которым обычно накрывали ягоду от солнца. Мелочь. Но она запомнила.

А ещё она нашла срезанную лозу, ту самую, слабую, лежащую отдельно, у края ряда. Люк не выбросил её в общую корзину. Положил отдельно, будто извиняясь. Жанна подняла её, повертела в руках. Лоза была сухой, тонкой, с двумя зелёными гроздьями, которые уже начали вянуть. Она всё равно бы не выжила. Может, он и прав был, что срезал. Но всё равно — не спросил.

— Ты где живёшь? — спросила она Люка, когда все начали расходиться.

— У мельника. Он обещал угол в сарае.

— У мельника сарай протекает. Пойдёшь к Клеману, скажешь, что от меня. У него комната над мастерской, раньше там жил его сын. Платить он не попросит, но ты помоги ему с бочками — у него поясница.

Люк посмотрел на неё внимательно, будто взвешивал что-то.

— Спасибо.

— Не за что. Мне нужно, чтобы ты завтра вышел в поле, а не лежал с простудой.

Она повернулась и пошла к дому, не оглядываясь. Но спиной чувствовала его взгляд — не тяжёлый, не липкий, а просто внимательный, как у человека, который привык запоминать дорогу.

Дом стоял на краю участка, каменный, с черепичной крышей, которой давно требовался ремонт. Жанна вошла, зажгла лампу, поставила на плиту воду для чая. В доме было тихо, слишком тихо. Отец уехал — и будто вынул из дома какой-то стержень, на котором всё дер-

жалось. Она села за стол, развернула письмо, пришедшее неделю назад. Третье за месяц. Все три — от кредиторов. Вежливые, сухие, с одинаковой угрозой между строк: «В случае неисполнения обязательств...»

Она смяла письмо и бросила в огонь. Бумага вспыхнула, скрутилась, превратилась в пепел. Жанна смотрела на огонь, пока вода не закипела.

Потом взяла трубку отца. Подержала в ладонях. Трубка была холодной. Не тёплой, не живой — просто куском обожжённого дерева, которое пахло старым табаком и пылью. Жанна держала её дольше, чем обычно, ждала, что тепло вернётся. Оно не возвращалось. Тогда она положила трубку обратно на полку — осторожно, будто боялась, что она рассыплется, — и отвернулась.

Утром она вышла в поле раньше всех. Туман лежал на лозах, ягода блестела от влаги, воздух пах мокрой землёй и чем-то сладким, тягучим — наверное, переспелой ежевикой у реки. Жанна прошла вдоль ряда, проверяя, не появилась ли гниль. Всё было чисто. Она уже собиралась вернуться к телеге, когда услышала за спиной шаги.

Люк стоял на меже с двумя корзинами. В руке у него был кусок хлеба с сыром — завтрак, который он, видимо, взял с собой. Он молча кивнул ей и пошёл в свой ряд.

— Ты рано, — сказала она.

— Не спится.

— У Клемана плохо?

— У Клемана хорошо. Просто я привык вставать до солнца.

Она хотела спросить, где он так привык, но передумала. Вместо этого сказала:

— Возьми вон ту корзину, поможешь мне с дальним участком. Там лоза старая, ягод мало, но нужно проверить, не заболела ли.

Они работали рядом весь день. Говорили мало — только по делу: «здесь подвяжи», «эту гроздь не трогай, она ещё зелёная», «принеси воды». Но в этом молчании Жанна впервые за долгое время почувствовала странное спокойствие. Будто кто-то наконец помогал ей нести груз, о котором она никого не просила.

Один раз их руки встретились на ручке корзины. Он взялся сверху, она снизу. Пальцы соприкоснулись — его тёплые, шершавые, её холодные от утренней воды. Жанна отдёрнула руку слишком быстро. Люк сделал вид, что не заметил. Но оба замолчали на целую минуту, и эта минута была тяжёлой, неудобной, полной чего-то, чего ни один из них не хотел называть. Жанна смотрела в сторону, на лозу, и чувствовала, как горит лицо.

К вечеру, когда телега снова была полна, Люк сказал:

— Твой отец уехал?

— Уехал. В Париж. Ищет работу.

— А ты здесь одна.

— Не одна. У меня есть работники. И деревня.

Он кивнул, но она видела, что он не поверил. И от этого стало почему-то обидно.

— Я справлюсь, — сказала она резче, чем хотела. — Я не из тех, кто ждёт, пока кто-то придёт и всё сделает.

— Я не говорил, что ты из таких.

— Ты подумал.

— Я подумал, что тебе тяжело. Это разные вещи.

Жанна открыла рот, чтобы ответить, но не нашла слов. Он смотрел на неё спокойно, без жалости, без превосходства. Просто смотрел.

— Завтра приходи к пяти, — сказала она наконец. — Успеем до жары.

— Хорошо.

Он ушёл к Клеману, а Жанна осталась стоять у телеги, глядя на закат. Небо было цвета спелой сливы, и первые звёзды уже проступали над холмом. Она думала о том, что впервые за три недели кто-то спросил её не о долге и не об участке, а о ней самой.

И это было странно, и немного пугающе, и почему-то очень нужно.

На третий день она узнала, что он грамотный. Случайно. Жанна принесла на поле счёт от бондаря — проверить, не обманули ли её с ценой на бочки, — и Люк, проходя мимо, скользнул взглядом по бумаге. Всего на секунду. Но она заметила, как шевельнулись его губы, беззвучно повторяя цифры.

— Ты умеешь читать, — сказала она.

Он замер, потом медленно выпрямился. Большой палец дёрнулся к шраму — и прошёл по нему дважды, туда и обратно. Быстро, почти незаметно. Но Жанна уже знала эту привычку. Она видела её в первый день, когда он сказал «из разных мест». И теперь поняла: врёт.

— Немного, — сказал он.

— Немного — это когда буквы знаешь. А ты читал.

Он молчал. В глазах у него было что-то, чего она раньше не видела, — настороженность, как у зверя, который услышал шаги охотника.

— Не бойся, — сказала Жанна. — Я не скажу никому. У нас тут не принято хвастаться грамотой, но и не за это бьют.

— А за что бьют?

— За воровство. За ложь. За то, что чужое трогаешь.

Люк посмотрел на неё долгим взглядом. Рука его осталась спокойной, пальцы не тянулись к подбородку. Но в глазах всё ещё была настороженность.

— Я не вор, — сказал он тихо.

Жанна хотела ответить сразу, но что-то её остановило. Она вспомнила срезанную лозу, отдельно положенную у края ряда. Вспомнила, как он не оправдывался. Вспомнила, как переставлял корзины, чтобы другим было удобнее. И ещё — как его палец дважды прошёл по шраму, когда он врал про грамотность.

— Знаю, — сказала она наконец. — Ты корзины переставляешь так, чтобы другим удобнее было. Воры так не делают.

Он ничего не ответил, но что-то в его лице изменилось. Будто трещина прошла по камню, и сквозь неё проглянуло что-то живое.

Вечером Мадлен подошла к ней у колодца, когда Жанна набирала воду.

— Ты с ним разговариваешь.

— С кем?

— Не притворяйся. С новеньким.

— Он работает. Я работаю. Иногда разговариваем.

Мадлен покачала головой.

— Деревня смотрит, Жанна. Тома уже спрашивал, почему ты не танцевала с ним на прошлой неделе, а теперь вон, с батраком шушукаешься.

— Тома — сын мельника. Ему не обо мне надо думать, а о том, как отцовское дело вести. И вообще, это моё дело, с кем разговаривать.

— Твоё, — согласилась Мадлен. — Только помни: деревня не прощает тем, кто забывает своё место. А он — пришлый. У него ничего нет. И если что, защищать его будет некому.

Жанна зачерпнула воды, вылила в ведро.

— А кто сказал, что его надо защищать?

Мадлен посмотрела на неё внимательно и вздохнула.

— Ты сама себя слышишь?

Жанна не ответила. Подхватила ведро и пошла к дому. Вода плескалась через край, оставляя на земле тёмный след.

Ночью она долго не могла уснуть. Лежала, глядя в потолок, слушала, как скрипит на ветру ставня. Думала о том, что Мадлен права. Что деревня не прощает. Что пришлый батрак с грамотой и шрамом на подбородке — это не тот, с кем стоит разговаривать дольше, чем нужно. И всё равно утром вышла в поле раньше всех, и когда увидела его фигуру на меже, почувствовала что-то, чего не чувствовала давно, — радость.

Он стоял и смотрел на восход. Солнце только поднималось из-за холма, и свет падал на лозы косыми длинными лучами, и в этом свете его лицо казалось моложе, мягче, будто шрам на подбородке был не шрамом, а просто тенью.

— Красиво, — сказала она, подходя.

Он обернулся.

— Что?

— Восход. Ты смотришь на него так, будто видишь впервые.

— Может, и впервые.

— Не может быть. Ты же жил где-то. Там тоже были восходы.

— Были, — согласился он. — Только я на них не смотрел.

Жанна встала рядом. Не слишком близко, но и не далеко.

— А сейчас почему смотришь?

Он помолчал, потом сказал:

— Потому что здесь можно.

Она не стала спрашивать, что это значит. Потому что поняла: он говорит не про восход. И это было самое странное, самое неудобное и самое настоящее, что она слышала за долгое время.

Солнце поднялось выше. Птицы запели в кустах у реки. Где-то за холмом зазвонил колокол — к заутрене. Жанна вздохнула и взяла корзину.

— Пошли. Ягода не ждёт.

Он кивнул и пошёл за ней. И в этом простом движении — шаг в шаг, ряд в ряд — было что-то, чего Жанна не могла назвать словами. Что-то, что пахло пылью и виноградом, звенело натянутой подвязкой и обещало, что этот день будет не таким, как все предыдущие.

Она оглянулась через плечо. Люк шёл за ней, и лицо у него было спокойное, и руки держали корзину так бережно, будто в ней лежало что-то хрупкое и очень важное.

— Я завтра приду, — сказал он вдруг. — Если ты не прогонишь.

Рука его не двинулась к подбородку. Пальцы остались спокойны. Он смотрел прямо. Но потом, будто спохватившись, отвёл взгляд и чуть дёрнул плечом — коротко, почти незаметно. Как человек, который сказал больше, чем собирался.

Жанна почувствовала, как что-то тёплое шевельнулось в груди.

— Приходи, — сказала она. — Посмотрим, как ты обрежешь дальний ряд. И на этот раз — без самодеятельности.

Он усмехнулся. Впервые за всё время. Уголок рта дёрнулся вверх, и шрам на подбородке стал будто мягче.

— Без самодеятельности, — повторил он. — Понял.

«Деревня не прощает», — сказала Мадлен.

Жанна подумала: а ей и не нужно, чтобы прощала деревня. Ей нужно, чтобы этот человек не исчез так же внезапно, как появился. И это было первое по-настоящему опасное желание за долгое время.

Глава 2. Вода и гордость

Река в это время года становилась тихой. Днём она ещё несла в себе тепло солнца, но к вечеру остывала быстро, и вода делалась тяжёлой, тёмной, как расплавленное олово. Пахло тиной и чем-то сладковатым, гниющим — наверное, ивовой корой, которая мокла в воде и отдавала свой запах медленно, как умирающий цветок. Жанна спустилась к берегу, когда солнце уже село за холм и небо над виноградниками стало цвета старого вина. Она несла с собой узел с бельём — рубахи, передники, отцовские штаны, которые он оставил, — и собиралась замочить всё в реке, чтобы утром прополоскать. Руки после дня в поле горели, ладони саднило от лозы, и вода должна была помочь.

Берег был пуст. Только ивы склонялись над водой, опустив ветви, как мокрые волосы. Жанна разулась, зашла по колено, вздрогнула от холода. Течение тянуло за собой, мягко, настойчиво, будто кто-то невидимый тянул за подол. Она опустила узел в воду, придавила камнем, чтобы не унесло, и выпрямилась, разминая спину. Тишина стояла такая, что слышно было, как где-то на другом берегу плещется рыба.

Потом она услышала шаги. Не осторожные, не крадущиеся — просто шаги человека, который идёт по своим делам и не ждёт встретить никого. Жанна обернулась.

Люк стоял на тропе, ведущей к реке, с ведром в руке. Видимо, пришёл за водой для Клемана. Увидев её, он остановился. В темноте его лицо было трудно разглядеть, но она заметила, как он чуть склонил голову набок, будто прислушивался.

— Я не помешала? — спросила она, хотя знала, что вопрос глупый. Это была не её река, и не его.

— Нет, — сказал он. — Я за водой.

— Клеман послал?

— Сам пришёл. У него колодец во дворе, но вода в нём с привкусом. Он говорит, от реки вкуснее.

Жанна усмехнулась. Клеман был старым и упрямым, как его лоза, и мог отправить человека за водой на другой конец деревни только из принципа.

— Он всегда так, — сказала она. — Говорит, что речная вода мягче. На самом деле ему просто нравится, когда кто-то ходит за него.

Люк ничего не ответил. Он подошёл к воде, набрал ведро, поставил его на камень. Потом выпрямился и посмотрел на реку. Жанна стояла по колено в воде, держась за подол юбки, чтобы не намокла. Ей вдруг стало неловко — не от того, что он видел её босой, а от того, как он смотрел. Не на неё — на воду. Будто видел в ней что-то, чего она не замечала.

— Ты часто здесь бываешь? — спросил он.

— Каждый вечер. Стираю. Или просто сижу.

— Одна?

— А что?

— Ничего. Просто спросил.

Он не сказал «опасно» или «должно быть, скучно». Просто спросил — и замолчал. Жанна оценила это. Деревня любила давать советы: «не ходи одна», «сиди дома», «чего тебе на месте не сидится». Люк не советовал. Он просто стоял и смотрел на воду, и в его молчании не было ни осуждения, ни жалости.

— Ты уже поужинал? — спросила она, чтобы нарушить тишину.

— Клеман накормил. Супом с капустой.

— Он всегда кладёт слишком много перца. Говорит, для крови полезно.

— Я заметил, — сказал Люк, и уголок его рта дёрнулся. Это было почти улыбкой. — У меня потом полчаса во рту горело. Думал, придётся в реку нырять.

Жанна фыркнула.

— Он так всех новеньких проверяет. Если выдержишь его суп — значит, свой.

— А если не выдержу?

— Тогда он будет считать тебя слабаком до конца жизни.

Люк вздохнул с преувеличенной серьёзностью.

— Хорошо, что я выдержал. Не хотел бы всю жизнь быть слабаком.

Жанна засмеялась — коротко, неожиданно для себя. Смех вышел лёгким, будто что-то внутри отпустило.

Жанна вышла из воды, села на камень, поджав ноги. Вода стекала с подола, оставляя тёмные пятна на камне. Она вытерла руки о юбку, потом полезла в карман передника. Там лежало письмо — то самое, что пришло днём. Она не собиралась читать его при нём, но руки сами потянулись. Может, потому что в темноте, у реки, в тишине, это казалось менее страшным.

— Что это? — спросил Люк.

— Письмо. От отца.

Он не спросил, что в нём. Не сказал «хорошие новости?» или «надеюсь, всё в порядке». Просто ждал.

Жанна развернула лист. Бумага была тонкой, почти прозрачной, и буквы расплывались в сумерках. Она поднесла лист ближе к лицу, но всё равно не могла разобрать.

— Темно, — сказала она с досадой. — Утром прочитаю.

— Я могу подержать, — сказал Люк. — Если хочешь. Луна вон, выглянула.

Она посмотрела на него. Луна действительно вышла из-за облака — тонкая, как серп, но света хватало. Жанна колебалась секунду, потом протянула ему письмо.

— Держи. Только не читай.

Он взял лист, держа его за края, будто это было что-то хрупкое. Жанна подошла ближе, встала рядом, чтобы свет падал на бумагу. Плечом она почти касалась его плеча. От него пахло рекой и дымом — видимо, Клеман топил печь.

— Читай, — сказала она. — Я не вижу.

Люк помолчал. Потом сказал:

— Я не умею.

Она подняла на него глаза. В темноте было трудно разглядеть выражение его лица, но голос прозвучал ровно, слишком ровно.

— Врёшь.

— С чего ты взяла?

— Ты держишь письмо правильно. Не как человек, который не знает, с какого края начинать. И глаза у тебя бегают по строчкам.

Он опустил лист. Большой палец правой руки медленно прошёл по шраму на подбородке — слева направо, один раз. Потом ещё раз. Жанна уже знала: дважды — значит, врёт.

— Немного умею, — сказал он наконец.

— Немного — это когда буквы знаешь. А ты читал.

— Читал. Давно.

— Почему скрываешь?

Он молчал. Жанна видела, как он смотрит в сторону, на реку, будто ищет там ответ. Потом сказал:

— Не люблю, когда знают больше, чем нужно.

— Это почему?

— Потому что тогда начинают просить. Или бояться. Или думать, что ты не тот, кто есть.

Жанна села обратно на камень. Жестом показала ему сесть рядом. Он поколебался, но сел — не слишком близко, на расстоянии вытянутой руки.

— А кто ты есть? — спросила она.

— Батрак. Пришлый. Человек без имени.

— У тебя есть имя. Люк.

— Это не имя. Это то, как меня зовут.

Жанна не поняла, что он имеет в виду, но переспрашивать не стала. Вместо этого сказала:

— Прочитай мне. Письмо.

Он посмотрел на неё долгим взглядом. Потом развернул лист и начал читать. Голос у него был низкий, спокойный, и слова он произносил медленно, будто пробовал их на вкус.

«Дорогая моя Жанна. Пишу тебе из Парижа, где живу у старого друга, которого ты не знаешь. Работы здесь много, но платят мало, и я не могу вернуться так скоро, как обещал. Прости меня. Я знаю, что ты справляешься лучше, чем я. Ты всегда была сильнее меня. Я это знал, когда уезжал. Может, поэтому и уехал. Деньги, которые я послал в прошлом месяце, должны были дойти до тебя. Если не дошли — напиши мне. И ещё: не продавай землю. Никому. Даже если будут предлагать хорошую цену. Земля — это всё, что у нас есть. Твой отец».

Люк замолчал. Жанна сидела неподвижно, глядя на воду. Внутри что-то сжалось — не от слов, а от того, как они прозвучали. Голосом Люка, а не её собственным. Будто письмо стало чужим.

— Он не пишет, когда вернётся, — сказала она.

— Пишет, что не может вернуться так скоро.

— Это не одно и то же.

Люк сложил письмо и протянул ей. Жанна взяла, но не убрала в карман. Держала в руках, глядя на бумагу.

— Деньги, — сказала она. — Он послал деньги. Я не получала никаких денег.

— Может, задержались. Почта работает медленно.

— Может.

Она не сказала, что уже три месяца платит по счетам сама, что кредиторы приходят всё чаще, что земля, которую отец велел не продавать, уже заложена — и не один раз. Это было слишком много для одного вечера.

— Спасибо, — сказала она. — Что прочитал.

— Не за что.

Они сидели молча. Река шумела тихо, почти неслышно. Где-то в ивах запела ночная птица — три ноты, повторяющиеся, как вопрос без ответа. Жанна думала о том, что впервые за долгое время кто-то рядом с ней молчит не потому, что не знает, что сказать, а потому, что не хочет говорить лишнего.

— Почему ты скрываешь, что умеешь читать? — спросила она снова. — Только честно.

Люк помолчал. Потом сказал:

— Потому что в некоторых местах за это бьют.

— В каких местах?

— В разных.

— Ты был в разных местах?

— Был.

— И везде били?

— Не везде. Но хватало.

Жанна повернулась к нему. В лунном свете его лицо казалось вырезанным из дерева — резкие скулы, прямой нос, шрам на подбородке. Он смотрел не на неё, а на воду.

— Расскажи, — сказала она. — Не всё. Но хоть что-нибудь.

Он долго молчал. Жанна уже думала, что он не ответит. Но потом он сказал:

— Я работал на одного человека. В Лионе. Он держал склад. Я носил мешки, считал ящики. Он не знал, что я умею читать. А потом узнал.

— И что?

— И стал просить проверять бумаги. Считать, что там написано. Я считал. А потом он сказал, что я слишком много знаю, и выгнал меня. Не заплатил.

— Почему не заплатил?

— Потому что я мог прочитать, сколько он мне должен. А он не хотел платить.

Жанна сжала кулаки. Ногти впились в ладонь — остро, до боли.

— Он поступил дурно, — сказала она, и голос её дрогнул. — Так нельзя с людьми.

— Может быть. Я не стал разбираться. Ушёл.

— И не вернулся?

— Не вернулся.

— Почему?

Он посмотрел на неё. Взгляд был спокойный, но в нём было что-то ещё — усталость, что ли.

— Потому что если возвращаться к каждому, кто тебя обманул, никакой жизни не хватит. Надо идти дальше.

Жанна подумала о кредиторах, о письмах, о том, что она могла бы пойти к ним и требовать отсрочки, но не идёт. Может, потому что боится услышать «нет». Может, потому что гордость не позволяет.

— Я бы вернулась, — сказала она. — Я бы ему показала.

— Может, и правильно. А может, и нет.

— Ты считаешь, что я неправа?

— Я считаю, что у каждого свой способ выживать. Ты дерёшься. Я ухожу. Оба способа работают.

Жанна хотела возразить, но не нашла слов. Он был прав — и это раздражало.

— С тобой не соскучишься, — сказала она наконец. — Говоришь мало, а понимаешь много.

Он ничего не ответил. Только чуть улыбнулся — одними губами, без глаз. И эта улыбка была не грустной и не весёлой. Просто улыбкой человека, который давно не улыбался и ещё не привык к тому, что это можно делать.

— Ты голодна? — спросил он вдруг.

— Что?

— Голодна? У меня есть хлеб. Клеман дал с собой. И сыр.

— Я дома поем.

— Дома далеко. А хлеб здесь.

Он достал из-за пазухи кусок хлеба, завёрнутый в тряпицу, и небольшой ломоть сыра. Протянул ей. Жанна хотела отказаться — из гордости, из привычки не брать чужого, — но желудок заурчал, и она поняла, что не ела с полудня.

— Ладно, — сказала она. — Но только потому, что ты сам предложил. А то бы я не взяла.

— Я знаю.

Она взяла хлеб. Он был тёплый, мягкий, с хрустящей коркой. Жанна откусила, прожевала. Сыр был острый, солёный, с каким-то травяным привкусом.

— Клеман делает? — спросила она.

— Клеман. Говорит, рецепт от его матери.

— У него всё от матери. И сыр, и суп, и характер.

Люк усмехнулся. На этот раз — по-настоящему. Уголок рта поднялся выше, и в глазах что-то блеснуло.

— Ты его хорошо знаешь?

— Я его всю жизнь знаю. Он мне лозу обрезать показывал, когда мне было шесть. И ругался, что я неправильно держу секатор.

— А ты?

— А я ругалась, что он слишком старый, чтобы учить.

Люк засмеялся. Тихо, коротко, будто выдохнул. Жанна посмотрела на него — и вдруг поняла, что впервые видит его смеющимся. И от этого стало почему-то тепло.

— А ты? — спросила она. — У тебя был кто-то, кто учил?

— Был.

— Кто?

Он помолчал. Потом сказал:

— Один человек. В Париже. Он умел читать и писать. Он меня научил.

— Где он сейчас?

— Умер.

Жанна не стала спрашивать, когда и как. В его голосе было что-то, что говорило: не сейчас. Может быть, никогда.

— Он был хороший? — спросила она.

— Он был добрый, но не всегда думал, что делает.

Жанна кивнула. Она знала таких людей. Её отец был из них.

— Ты странно говоришь, — сказала она. — Как человек, который много думал.

— Я много думал. Когда нечего делать, начинаешь думать.

Жанна доела хлеб, вытерла руки о юбку. Луна поднялась выше, и река стала светлее, будто в неё добавили молока.

— Мне пора, — сказала она. — Завтра рано вставать.

— Я знаю. Я тоже пойду.

Он встал, подал ей руку. Жанна помедлила секунду, потом взялась. Его ладонь была тёплая, шершавая, и он держал крепко, но не сжимал слишком сильно. Она поднялась с камня, оказавшись к нему ближе, чем ожидала. Настолько близко, что почувствовала запах хлеба и дыма, и что-то ещё — тёплое, живое, принадлежащее только ему.

Она не отстранилась. Он тоже.

Мгновение тянулось, как смола. Жанна смотрела на него снизу вверх — он был выше её на полголовы, — и видела, как в его глазах отражается луна. Или это была не луна. Может быть, что-то другое.

Она заметила, как его рука — та, что держала её, — чуть дрогнула. Едва-едва, как дрожит натянутая струна, когда её отпускают. Люк отстранился первым. Резко, будто обжёгся. Шагнул назад, опустил глаза.

— Спокойной ночи, Жанна, — сказал он. Голос был ровный, но она слышала: он говорит это слишком быстро. Слишком гладко. Как человек, который боится, что если помолчит ещё секунду, то скажет что-то другое.

— Спокойной ночи, Люк.

Она взяла узел с бельём, который уже отмок, и пошла по тропе вверх, к дому. Не оглядывалась. Но спиной чувствовала его взгляд — и знала, что он смотрит ей вслед, пока она не скрылась за поворотом.

Дома она разожгла огонь, повесила мокрое бельё сушиться. Письмо отца положила на стол. Смотрела на него долго, потом взяла трубку с полки. Подержала в руках. Холодная. Не тёплая, не живая — просто кусок обожжённого дерева. Жанна держала её дольше, чем обычно, ждала, что тепло вернётся. Оно не возвращалось. Тогда она положила трубку обратно — осторожно, будто боялась, что она рассыплется, — и отвернулась.

Утром она пришла на поле раньше всех. Туман стоял густой, как молоко, и лозы были мокрые от росы. Жанна прошла вдоль ряда, проверяя, не появилась ли гниль. Всё было чисто.

Люк пришёл через полчаса. Молча кивнул, встал в свой ряд. Работал, не поднимая головы. Но когда они встретились у бочки с водой, он сказал:

— Я думал о твоём письме.

— И что?

— Если деньги не пришли, значит, кто-то их получил. Или они застряли на почте. Или...

— Или что?

— Или он их не посылал.

Жанна замерла. Эта мысль приходила ей в голову, но она гнала её от себя. Слишком неприятно было думать, что отец мог соврать.

— Зачем ему врать?

— Не знаю. Может, чтобы ты не волновалась. Может, чтобы ты думала, что он о тебе заботится.

— Он заботится.

— Может быть. Но письма — это не деньги.

Жанна посмотрела на него. В его глазах не было осуждения — только спокойная, трезвая мысль.

— Что мне делать? — спросила она.

— Написать ему. Спросить прямо. И ещё — поговорить с почтальоном. Может, он помнит, приходило ли что-то на твоё имя.

Жанна кивнула. Это было разумно. Просто. И она сама не додумалась.

— Спасибо, — сказала она.

— Не за что.

Он взял ведро и пошёл обратно в ряд. Жанна смотрела ему вслед и думала: как странно, что человек, который скрывает свою грамотность, учит её быть смелее в словах.

После полудня она пошла на почту. Старый Жак, почтальон, сидел на крыльце своего дома и чинил велосипед — единственный в деревне, ржавый, с погнутым колесом. Увидев Жанну, он отложил инструмент.

— Чего тебе, красавица?

— Жак, скажи, приходило что-нибудь на моё имя? Деньги? Перевод?

Жак почесал затылок.

— Деньги, говоришь? Нет, не было. А письма были. Три штуки за месяц. Все от кредиторов. Я их тебе сам относил.

— А от отца?

— От отца — одно. Месяц назад. Но там не было денег. Только письмо.

Жанна почувствовала, как внутри что-то оборвалось.

— Ты уверен?

— Уверен. Я бы запомнил, если бы деньги. Такое не забывается.

Жанна кивнула. Поблагодарила. Пошла обратно. По дороге встретила Тому, сына мельника. Он шёл с мешком муки на плече, увидел её, остановился.

— Жанна. Ты чего такая? Будто увидела привидение.

— Всё в порядке.

— Ага. В порядке. А то я тебя знаю — если ты бледная, значит, что-то стряслось.

— Ничего не стряслось.

Тома помолчал, переложил мешок с плеча на плечо.

— Слышал, ты с батраком у реки сидишь по вечерам.

— Слышал или тебе сказали?

— Какая разница. Деревня болтает.

— Пусть болтает.

— Жанна, — сказал он серьёзно. — Ты хорошая девушка. И я не хочу, чтобы о тебе говорили всякое. А с ним — будут говорить.

— А с тобой — не будут?

Тома замялся.

— Со мной — другое дело. Я свой.

— А он — чужой.

— Да.

— Вот и иди к своим, — сказала Жанна и пошла дальше, не оглядываясь.

Дома она села за стол, развернула лист бумаги. Написала отцу. Коротко, без упрёков. Спросила про деньги, про здоровье, про то, когда он вернётся. Запечатала письмо, отнесла на почту. Жак сказал, что отправит утром.

Вечером она спустилась к реке. Люк уже был там. Сидел на камне, смотрел на воду. Увидев её, поднялся.

— Я поговорила с Жаком, — сказала она. — Денег не было. Только письмо. Месяц назад.

Люк кивнул. Не сказал «я так и знал». Не сказал «я же говорил». Просто кивнул.

— Что будешь делать?

— Не знаю. Написала ему. Спросила прямо.

— Хорошо.

Они сели рядом. Не так близко, как вчера, но и не далеко. Река шумела. Пахло тиной и мокрой корой.

— Люк.

— Что?

— Ты сказал вчера, что надо идти дальше. А если не получается?

Он помолчал. Потом сказал:

— Тогда стоишь на месте. Но не возвращаешься назад.

— Это как?

— Это как стоять в реке. Течение тянет, а ты держишься за камень. Рано или поздно либо камень сдвинется, либо ты найдёшь другой.

Жанна посмотрела на него. В лунном свете его лицо было спокойным. Не грустным. Просто спокойным.

— Ты странный, — сказала она. — Говоришь мало, а понимаешь много.

— Я знаю.

— Это не комплимент.

— Я знаю, — повторил он, и уголок его рта дёрнулся.

Жанна улыбнулась. Первый раз за день.

— Завтра приходи к пяти, — сказала она. — Успеем до жары.

— Хорошо.

Она встала, подхватила узел с бельём — сегодня она принесла только своё, без отцовских штанов.

— Спокойной ночи, Люк.

— Спокойной ночи, Жанна.

Она пошла по тропе вверх. На этот раз оглянулась. Один раз. Люк всё ещё стоял у воды, смотрел ей вслед. Не улыбался. Просто смотрел.

Жанна поднялась к дому, разожгла огонь, села у стола. Трубка отца лежала на полке. Она не стала её брать. Знала, что она холодная.

И впервые за долгое время подумала: может, это не она ждёт отца. Может, это отец не хочет возвращаться. И от этой мысли стало не больно, а пусто.

Она легла спать и во сне увидела реку. Вода в ней была тёмная, как вино, и кто-то стоял на берегу, держа в руках письмо. Она не видела лица, но знала, кто это. И знала, что он прочитает ей всё, что она захочет. Даже то, чего она не просила.

Утром она проснулась с мыслью о Люке. И это было первое утро за долгое время, когда она проснулась не с тревогой, а с чем-то похожим на любопытство.

Что будет дальше? Она не знала. Но впервые за много месяцев ей хотелось узнать.

Глава 3. Мадлен и цена слухов

Утро началось с тишины. Не той тишины, что бывает в поле до восхода, когда слышно только собственное дыхание, а другой — густой, настороженной, будто деревня притихла, прислушиваясь. Жанна вышла из дома, когда солнце уже поднялось над холмом, и сразу почувствовала: что-то не так. Не было слышно обычного утреннего гама — скрипа телег, перебранки соседских кур, голоса старого Пьера, который всегда ругался на свою козу. Только где-то далеко лаяла собака, и этот лай казался чужим.

Она прошла к колодцу. У колодца стояла Брижит, жена кузнеца, и набирала воду. Увидев Жанну, она кивнула — слишком быстро, слишком вежливо — и отвела глаза. Жанна набрала воды, пожелала доброго утра. Брижит пробормотала что-то неразборчивое и ушла, унося ведро так, будто оно было полно не воды, а чего-то опасного.

Жанна смотрела ей вслед. Вчера они болтали у этого же колодца минут десять — про урожай, про дочь Брижит, которая собиралась замуж за сына кожевника. Сегодня — молчание. И не просто молчание, а торопливое, неловкое, будто Жанна внезапно стала человеком, с которым неприлично стоять рядом.

Она вернулась домой, поставила воду на плиту. Внутри что-то скребло — не тревога, а предчувствие тревоги. Как когда на горизонте собираются тучи, и ты ещё не знаешь, будет ли гроза, но уже чувствуешь, что воздух стал тяжёлым.

Мадлен пришла через час. Без стука — она всегда входила без стука, — но на этот раз она не влетела, как обычно, с шуткой или новостью, а вошла медленно, будто не была уверена, что её ждут. От неё пахло мылом и щёлочью — только что стирала.

— Ты чего? — спросила Жанна, вытирая руки о передник. — Заболел кто?

— Нет. — Мадлен села на стул, не снимая платка. — Поговорить надо.

Жанна почувствовала, как что-то внутри сжалось. Она села напротив, сложила руки на столе.

— Говори.

Мадлен помолчала. Потом сказала:

— Ты с ним вчера у реки сидела. Опять.

— С кем?

— Не притворяйся, Жанна. С Люком. С батраком.

— Мы разговаривали. Что с того?

— Что с того? — Мадлен подалась вперёд. — То, что вас видели. Не я — другие. Ты знаешь, как это бывает: кто-то шёл мимо, увидел, рассказал, и вот уже вся деревня знает, что Жанна, дочь мельника, сидит по вечерам с пришлым батраком. Одна. В темноте.

— Мы не в темноте сидели. Луна была.

— О, ну тогда всё в порядке, — сказала Мадлен с горечью. — Луна была. Это всё меняет.

Жанна вздохнула. Она знала этот тон — Мадлен включала его, когда хотела сказать что-то неприятное, но не знала, как начать.

— Говори прямо. Что случилось?

Мадлен сняла платок, положила на колени. Руки у неё были красные, распаренные — она только что стирала.

— Тома приходил. Вчера вечером. К нам домой. Спрашивал, почему ты с ним не танцевала на празднике, а теперь сидишь у реки с батраком. Спрашивал, не случилось ли чего. Не обидел ли он тебя.

Жанна замерла.

— И что ты сказала?

— Что сказала? Сказала, что ты взрослая женщина и сама разберёшься. А он говорит: «Я не про то. Я про то, что о ней говорят. Мне не всё равно».

— «Не всё равно», — повторила Жанна, и в голосе её прозвучало что-то острое. — Надо же. А раньше ему было всё равно? Когда я одна тащила телегу, когда кредиторы приходили, когда отец уехал — где он был?

— Жанна.

— Что «Жанна»? Он завидный жених, да. Мельница, дом. А я, значит, должна сидеть и ждать, пока он соизволит заметить, что я не только дочь мельника, но ещё и человек?

— Он не о том говорил.

— А о чём?

Мадлен помолчала. Потом сказала тихо:

— Он говорил о том, что деревня не любит, когда кто-то живёт не по правилам. А ты, Жанна, живёшь не по правилам. Ты одна в доме, без отца, без мужа. Ты работаешь на земле, которая заложена. Ты разговариваешь с пришлым человеком, у которого ни кола, ни двора. И деревня это видит.

— И что? Пусть смотрит.

— Пусть смотрит, — согласилась Мадлен. — Только смотреть — это одно. А вот помогать — другое.

Она помолчала. Потом сказала, глядя в сторону:

— Я знаю, о чём говорю. Когда я была молодой, у меня тоже был… один человек. Не из наших. Пришлый. Он работал на лесопилке, жил в сарае у Пьера. Мы встречались тайком — за амбаром, за мельницей. Я думала, никто не видит. А потом увидели. И знаешь, что было?

Жанна покачала головой.

— Меня перестали звать на посиделки. Мать сказала: «Ты позоришь семью». Отец не разговаривал со мной месяц. А тот человек — он ушёл через два месяца. Сказал, что не может смотреть, как меня грызут из-за него. И я осталась одна. С позором. Без него.

Жанна молчала. Мадлен никогда раньше не рассказывала эту историю.

— А потом?

— А потом я вышла замуж за Жака. Не по любви — по расчёту. Он был вдовец, старше меня на десять лет. Но он был свой. И деревня успокоилась. И я успокоилась. — Мадлен посмотрела на неё. — Я не говорю, что ты должна сделать то же самое. Я говорю, что знаю, чем это заканчивается. И не хочу, чтобы ты прошла через то же, что и я.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось. Не от злости — от чего-то более сложного.

— И ты жалеешь? — спросила она. — О том, что было?

Мадлен долго молчала. Потом сказала:

— Иногда. Когда вижу, как Жак храпит на другой половине кровати. Или когда он говорит мне «подай соль», а не «подай соль, пожалуйста». — Она усмехнулась. — Но потом думаю: а что было бы, если бы я ушла с тем человеком? Может, было бы хуже. Может, лучше. Не знаю. Но я знаю одно: деревня не прощает. И если ты пойдёшь против неё, тебе придётся идти одной.

Жанна сжала кулаки. Ногти впились в ладонь — остро, до боли.

— Значит, я должна перестать с ним разговаривать? Так, что ли?

Мадлен посмотрела на неё долгим взглядом.

— Я не говорю, что ты должна перестать. Я говорю, что ты должна понимать: за каждым твоим шагом смотрят. И если ты будешь продолжать — деревня отвернётся.

— Пусть отворачивается.

— Жанна, не будь ребёнком. Ты живёшь здесь. Ты зависишь от этих людей. От Брижит — помол. От Соланж — гостиница, где ты покупаешь еду, когда не успеваешь готовить. От Тома — мельница, если своя не справится. Ты не можешь просто взять и послать всех к чёрту.

— Я не посылаю. Я просто разговариваю с человеком.

— С пришлым человеком. С батраком. Который появился месяц назад и о котором никто ничего не знает. Ты даже не знаешь, откуда он на самом деле.

— Знаю.

— Откуда?

Жанна открыла рот, чтобы ответить, но поняла, что не может. «Из разных мест». Это всё, что он сказал. Она не знала ни где он родился, ни кто его родители, ни почему у него шрам на подбородке, ни почему он скрывает грамотность. Она знала только, что он честный. Но разве этого достаточно?

— Вот видишь, — сказала Мадлен, и в её голосе не было торжества, только усталость. — Ты даже не можешь сказать, кто он.

— Он хороший человек.

— Может быть. Только «хороший человек» — это не то, что деревня понимает. Деревня понимает «свой» или «чужой». А он — чужой. И пока он чужой, всё, что ты с ним делаешь, будет выглядеть подозрительно.

Жанна отвернулась. В горле стоял ком. Она знала, что Мадлен права. Знала, что деревня не прощает. Знала, что каждый вечер у реки — это не просто разговор, это вызов. И всё равно не могла заставить себя сказать: «Хорошо, я перестану».

— Что мне делать? — спросила она, и голос её прозвучал глухо.

Мадлен вздохнула.

— Я не знаю. Может, поговорить с Томой. Объяснить, что ничего нет. Может, он успокоится и перестанет спрашивать. Может, деревня увидит, что ты не выходишь за рамки, и отстанет.

— А если я не хочу объяснять Томе? Если это не его дело?

— Тогда, — сказала Мадлен, — деревня решит, что это твоё дело — и его тоже. И будут правы.

Она встала, повязала платок.

— Я не враг тебе, Жанна. Я просто говорю то, что вижу. Ты умная. Ты сама знаешь, что я права. Просто тебе не хочется это слышать.

Она ушла. Жанна осталась сидеть за столом. Вода на плите закипела, но она не встала. Смотрела в стену и думала.

В поле она вышла позже обычного. Люк уже был там — работал в четвёртом ряду, как всегда, не поднимая головы. Увидев её, кивнул. Жанна кивнула в ответ, но не подошла. Начала работать в другом ряду, дальше, чем обычно.

Через час он подошёл. С ведром воды, как всегда.

— Ты сегодня не разговариваешь, — сказал он.

— Работы много.

— Работа — это не причина.

Она промолчала. Взяла ковш, напилась. Вода была холодная, обожгла горло. На пальцах остался запах железа и мокрой земли.

— Что-то случилось? — спросил он.

Жанна посмотрела на него. В его глазах была не тревога — просто внимание. Он ждал.

— Случилось, — сказала она. — Деревня говорит.

— О чём?

— О нас.

Люк помолчал. Большой палец правой руки медленно прошёл по шраму на подбородке — один раз. Потом он опустил руку.

— И что именно говорит?

— Что я слишком часто с тобой разговариваю. Что это выглядит неприлично. Что ты — чужой, и я должна знать своё место.

— А ты? — спросил он. — Ты так считаешь?

— Нет.

— Тогда почему ты говоришь это мне?

Жанна замерла. Вопрос был простой, но в нём было что-то, от чего стало стыдно.

— Потому что я не знаю, что делать, — сказала она честно. — Потому что Брижит отказалась молоть моё зерно. Потому что Тома приходил к Мадлен и спрашивал, не обидел ли ты меня. Потому что деревня смотрит, и я не могу просто сказать «пусть смотрит», потому что я здесь живу.

Люк слушал. Не перебивал. Когда она замолчала, он сказал:

— Понятно.

— И это всё? «Понятно»?

— А что ты хочешь услышать?

— Не знаю. Что-нибудь.

Он помолчал. Потом сказал:

— Я могу уйти.

Жанна подняла на него глаза.

— Что?

— Уйти. Из деревни. Тогда сплетни прекратятся. Ты сможешь жить как раньше.

— Я не хочу, чтобы ты уходил.

— Я знаю. Но я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось. Не от боли — от чего-то другого, более острого.

— Это не твоё решение, — сказала она. — Уходить или не уходить. Это моё решение — с кем мне разговаривать.

— Тогда решай, — сказал он спокойно. — Только не заставляй меня чувствовать, что я — причина твоих проблем. Потому что если я причина, то я должен их решить. А единственный способ решить — уйти.

Он взял ведро и пошёл обратно в ряд. Но на этот раз не ушёл сразу. Постоял секунду, глядя на неё. Будто хотел сказать что-то ещё — и не сказал. Потом кивнул, коротко, и вернулся к работе.

Жанна смотрела ему вслед. Внутри всё кипело — злость, растерянность, что-то ещё, чему она не находила названия.

Днём она пошла в деревню. Надо было купить соли и свечей, и она решила, что не будет прятаться. Пусть смотрят. Пусть говорят. Она не сделала ничего дурного.

У лавки стояли три женщины. Мадам Рош, жена виноторговца, — сухая, с острым носом и глазами, которые всегда что-то искали. Мадам Леру, вдова, — полная, в переднике, перепачканном мукой. И ещё одна, молодая, имени которой Жанна не помнила, — она стояла чуть в стороне, опустив глаза.

Когда Жанна подошла, они говорили о дочери Брижит — той самой, что собиралась замуж за сына кожевника. Жанна услышала обрывок: «...платье уже сшили, белое, с кружевом...» — и потом мадам Рош сказала: «...говорят, жених не очень-то и рад...»

Жанна подошла ближе. Мадам Рош замолчала на полуслове. Мадам Леру посмотрела на неё, потом на мадам Рош. Молодая женщина отступила на шаг.

— Добрый день, — сказала Жанна.

— Добрый, — ответила мадам Рош. — Соль, свечи? Сейчас.

Она скрылась в лавке. Мадам Леру осталась стоять, глядя в сторону. Молодая женщина смотрела на свои башмаки.

— Слышала, у тебя с помолом проблемы, — сказала вдруг мадам Леру, не глядя на Жанну.

— С чего ты взяла?

— Брижит говорила. Сказала, что больше не будет молоть твоё зерно.

— Это наше дело с Брижит.

— Может, и ваше. Только деревня теперь думает: если Брижит отказалась, значит, есть причина.

Мадам Рош вышла с солью и свечами. Поставила на прилавок. Жанна заплатила. Взяла покупки.

— А причина, — сказала мадам Леру, — говорят, в том, что ты слишком много времени проводишь с этим батраком.

Жанна почувствовала, как кровь прилила к лицу. Пальцы сжали свёрток с солью так, что бумага захрустела.

— А деревне какое дело?

— Деревне всегда есть дело, — сказала мадам Рош спокойно. — Мы тут все друг друга знаем. И когда кто-то начинает вести себя странно, мы замечаем.

— Я веду себя странно?

— Ты сидишь по вечерам с чужим мужчиной. Одна. В темноте. По-твоему, это не странно?

Жанна хотела ответить резко, но что-то её остановило. Она вспомнила слова Мадлен: «Ты зависишь от этих людей». И поняла, что не может позволить себе ссору. Не сейчас.

— Мы разговариваем, — сказала она ровно. — Это всё.

— Ну да. Разговариваете. Только разговоры бывают разные.

Молодая женщина подняла глаза — быстро, испуганно — и снова опустила. Жанна поймала её взгляд. В нём не было осуждения. Было что-то другое — может быть, сочувствие. Или страх.

Жанна взяла покупки и пошла прочь. Спиной чувствовала взгляды. Три пары глаз, как три иглы.

Брижит она нашла у кузницы. Та развешивала бельё на верёвке — простыни, рубахи, что-то ещё, большое и белое. Увидев Жанну, она замерла с простынёй в руках.

— Брижит.

— Жанна.

— Я слышала, ты не будешь молоть моё зерно.

Брижит опустила простыню. Лицо у неё было усталое, серое.

— Я не против тебя, Жанна. Ты знаешь, я не против.

— Тогда почему?

— Потому что о тебе говорят. А у меня дочь. Ей выходить замуж. И если люди будут думать, что мы с тобой заодно...

Она не договорила. Жанна поняла.

— Ты боишься.

— Я не боюсь. Я просто... — Брижит вздохнула. — Я не могу рисковать. Ты понимаешь? У тебя нет детей. У тебя нет мужа. Тебе нечего терять. А у меня дочь.

Жанна хотела сказать, что у неё тоже есть что терять. Земля. Дом. Мельница. Но не сказала. Потому что Брижит была права в чём-то. У неё действительно было меньше, чем у других. И это было самым обидным.

— Я поняла, — сказала она.

— Жанна...

— Ничего. Я найду другой помол.

Она пошла прочь. Брижит окликнула её, но Жанна не обернулась.

Вечером она спустилась к реке позже обычного. Думала, что Люк уже ушёл. Но он был там. Сидел на камне, смотрел на воду. Пахло тиной и мокрой корой.

— Я думала, ты не придёшь, — сказала она.

— Я думал, ты не придёшь.

Она села рядом. Не так близко, как вчера. На расстоянии.

— Я ходила в деревню, — сказала она. — За солью. Там были женщины. Они замолчали, когда я подошла. А потом одна сказала, что деревня думает, будто я веду себя странно.

Люк кивнул.

— А ты?

— Что я?

— Ты думаешь, что ведёшь себя странно?

Жанна помолчала. Потом сказала:

— Я думаю, что я делаю то, что хочу. И мне за это платят.

— Чем?

— Помолом. Разговорами. Взглядами.

Люк посмотрел на неё. В лунном свете его лицо было спокойным, но в глазах было что-то, чего она раньше не видела. Может быть, вина.

— Я не хочу, чтобы ты платила за меня, — сказал он.

— Я плачу не за тебя. Я плачу за себя.

— Это одно и то же.

Жанна хотела возразить, но не смогла. Он был прав. Она платила за то, что выбрала разговаривать с ним. И этот выбор стоил дорого.

— Что нам делать? — спросила она.

Люк долго молчал. Потом сказал:

— Я не знаю. Но я знаю одно: если я уйду, тебе станет легче.

— Не станет.

— Станет. Деревня забудет. Брижит снова будет молоть твоё зерно. Тома перестанет спрашивать. Всё вернётся на свои места.

— А если я не хочу, чтобы всё возвращалось на свои места?

Он посмотрел на неё. Долго. Потом сказал:

— Тогда ты должна решить, что для тебя важнее: я или деревня.

Жанна замерла. Вопрос был жестокий, но честный. И она не знала ответа.

— Я не могу выбрать, — сказала она. — Это не выбор. Это как выбирать между рукой и ногой.

— Тогда выбирай не сейчас. Но рано или поздно придётся.

Он встал.

— Я пойду. Завтра тяжёлый день.

— Люк.

Он обернулся.

— Спасибо, — сказала она. — За то, что не врёшь.

Он кивнул. И ушёл.

Жанна осталась сидеть на камне. Смотрела на воду. Думала о том, что впервые за много лет она не знает, что делать. И это было страшнее, чем кредиторы, чем письма, чем холодная трубка отца.

На следующий день Мадлен пришла снова. На этот раз — с новостью.

— Тома приходил к Клеману, — сказала она. — Спрашивал про Люка. Откуда он, кто такой, почему живёт у Клемана.

Жанна отложила секатор, которым чистила лозу.

— И что Клеман?

— Клеман сказал, что не знает. Что Люк пришёл, попросил работу, он дал. А больше не спрашивал.

— И Тома?

— Тома ушёл. Но, говорят, он собирается поговорить с Люком. Сам.

Жанна почувствовала, как внутри что-то оборвалось.

— Когда?

— Не знаю. Может, сегодня. Может, завтра.

Жанна бросила секатор в корзину.

— Где он?

— Кто? Тома?

— Люк.

— В поле. Где ему ещё быть.

Жанна пошла через виноградник. Быстро, почти бегом. Сердце колотилось. Она не знала, что скажет. Не знала, что сделает. Знала только, что должна быть там.

Люк работал в дальнем ряду. Один. Тома стоял на меже. Высокий, в чистой рубахе, руки в боки. Они разговаривали. Жанна не слышала слов, но видела, как Тома наклонился вперёд, что-то говоря, и как Люк выпрямился, глядя ему в глаза.

Она подошла ближе. Остановилась.

— Тома, — сказала она.

Он обернулся. Увидел её. Что-то мелькнуло в его лице — досада? раздражение?

— Жанна. Мы разговариваем.

— Я вижу. О чём?

— О тебе.

— Тогда говори при мне.

Тома помолчал. Потом сказал:

— Хорошо. Я скажу при тебе. Я спросил его, что он здесь делает. Зачем пришёл. Почему не уходит.

— И что он ответил?

Тома посмотрел на Люка. Люк стоял спокойно, руки опущены, взгляд прямой.

— Он сказал, что работает. Что ему некуда идти. Что он не хочет ничего дурного.

— И ты ему не поверил?

— Я не знаю, верить или нет. Я его не знаю. Никто не знает. А ты, Жанна, проводишь с ним вечера. И о тебе уже говорят.

— Пусть говорят.

— Ты не понимаешь. — Тома шагнул к ней. — Ты не понимаешь, что о тебе говорят. Что ты — дочь мельника, у которой отец уехал и не вернулся. Что у тебя земля в долгах. Что ты одна. И теперь ещё это.

— Что «это»?

— Он. — Тома кивнул на Люка. — Пришлый. Безродный. Никто не знает, откуда он. А ты с ним сидишь у реки. Одна. По вечерам.

— И что? — сказала Жанна, и голос её стал твёрдым. — Что именно тебя беспокоит, Тома? То, что я сижу с ним? Или то, что я сижу не с тобой?

Тома замолчал. Лицо у него пошло пятнами.

— Я не о том, — сказал он тихо. — Я о тебе. О твоей репутации.

— Моя репутация — это моё дело.

— Нет. — Тома покачал головой. — Это не твоё дело. Это дело деревни. Потому что мы тут все вместе. И если один начинает вести себя не так, страдают все.

— Как я заставляю страдать всех?

— Ты не заставляешь. Но люди видят. И думают. И говорят. И это уже не остановить.

Жанна хотела ответить, но Люк вдруг сказал:

— Хватит.

Он подошёл к ним. Встал рядом с Жанной, но чуть позади — не вперёд, не заслоняя, а просто рядом.

— Тома, — сказал он спокойно. — Я тебя услышал. Ты беспокоишься о Жанне. Это хорошо. Но я не собираюсь ничего дурного делать. Я работаю. Я живу у Клемана. Я не ищу ничьей жены или невесты. Я просто человек, которому некуда идти.

— Тогда почему ты сидишь с ней по вечерам? — спросил Тома.

Люк помолчал. Большой палец правой руки медленно прошёл по шраму на подбородке — один раз. Потом он опустил руку.

— Потому что она со мной разговаривает, — сказал он. — А я давно ни с кем не разговаривал.

Тома смотрел на него долгим взглядом. Потом перевёл взгляд на Жанну. Что-то в его лице изменилось — не злость, не обида, а что-то более сложное.

— Я тебя понял, — сказал он Люку. — Но деревня — нет. И не поймёт. Пока ты здесь — будут говорить. И о ней, и о тебе. И это не остановится, пока кто-то из вас не уйдёт.

Он помолчал.

— Я не враг тебе, Жанна, — сказал он тихо. — Я просто не хочу, чтобы ты пострадала. Но я не могу закрыть рты всем. И ты это знаешь.

— Знаю.

— Если что-то случится — ты знаешь, где меня найти.

Он повернулся и пошёл прочь. Жанна смотрела ему вслед. Потом повернулась к Люку.

— Ты соврал, — сказала она.

— Что?

— Ты сказал, что давно ни с кем не разговаривал. Но ты разговариваешь со мной.

— Это правда.

— Но ты сказал это так, будто это было давно. А мы разговаривали вчера.

Люк посмотрел на неё. В его глазах было что-то, чего она не могла разгадать.

— Жанна, — сказал он. — Я разговариваю с тобой. Но это не значит, что я разговариваю.

Она не поняла. Но переспрашивать не стала.

Вечером она сидела дома. Трубка отца лежала на полке. Холодная. Жанна смотрела на неё и думала: может, это и есть цена. Не помол, не разговоры, не взгляды. Цена — это когда ты сидишь одна и не знаешь, что будет завтра. И не с кем поговорить.

Она взяла трубку. Подержала в руках. Холодная. Потом положила обратно.

И подумала: может, Мадлен права. Может, деревня права. Может, она действительно ведёт себя странно. И может, это не стоит того.

Но потом она вспомнила, как Люк сказал: «Потому что она со мной разговаривает. А я давно ни с кем не разговаривал». И поняла, что это не странно. Это — единственное, что имеет смысл.

А потом подумала: а если он всё-таки уйдёт? Если деревня додавит его — или её? Что тогда? Она останется одна. С землёй, с долгами, с холодной трубкой на полке. И с воспоминанием о человеке, который читал ей письма у реки.

И эта мысль была страшнее, чем всё остальное.

Она легла спать, но не могла уснуть. Лежала, глядя в потолок. Слушала, как скрипит ставня. И думала: что бы она выбрала, если бы знала, что будет дальше? Деревню — или его?

Ответа не было. Только тишина. И холодная трубка на полке.

Глава 4. Старый сундук

Дождь пошёл ночью — первый за три недели. Жанна проснулась от того, что ставня хлопала громче обычного, и лежала, слушая, как вода стучит по черепице. Стук был неровный, глухой, будто кто-то бросал в крышу горсти песка. К утру дождь стих, но небо осталось серым, тяжёлым, и воздух в доме сделался сырым, пахнущим мокрой известью и старой золой. Во рту у Жанны с самого пробуждения был привкус металла — то ли от колодезной воды, то ли от чего-то, что она не могла назвать.

В поле выходить было нельзя — земля раскисла, лоза мокрая, ягода могла загнить от лишней воды. Жанна постояла у окна, глядя на виноградник, который теперь казался чужим, потемневшим, будто кто-то накрыл его мокрой тряпкой. Потом повязала платок и решила: раз уж день пропал, надо заняться тем, до чего руки не доходили три недели.

Тем самым, что лежало в старом сундуке.

Сундук стоял в сарае, примыкавшем к дому, — в той половине, где раньше держали бочки, а теперь хранили всякий хлам: сломанные грабли, куски верёвки, старые секаторы, которые отец никогда не выбрасывал, потому что «ещё пригодятся». Сундук был дубовый, обитый ржавыми полосами железа, с замком, который давно не запирался. Жанна помнила его с детства: отец говорил, что он остался от деда, а дед держал в нём бумаги, «чтобы не потерялись». Бумаги действительно не терялись — они гнили, слеживались, покрывались плесенью, но оставались на месте.

Она открыла дверь сарая. Пахнуло сыростью, мышами и чем-то ещё — кисловатым, застоявшимся, как запах старого вина, которое слишком долго простояло в бочке. Жанна взяла фонарь, прикрыла его стеклом, чтобы не капало, и шагнула внутрь. Под ногами хрустело: солома, сухие листья, черепки. Что-то мягкое подалась под каблуком — она посмотрела вниз: дохлая мышь, раздутая, с задранными лапками. Жанна поморщилась, отпихнула её носком башмака.

Сундук стоял в углу, под самым окном, затянутым паутиной. Паутина была плотная, серая, с комками пыли. Жанна отодвинула её рукой — по пальцам поползло что-то лёгкое, щекотное, липкое, — и вытерла ладонь о передник. Потом подняла крышку. Петли скрипнули так, будто их не смазывали лет двадцать.

Внутри было темно. Жанна поднесла фонарь. Бумаги лежали стопками, перевязанные бечёвкой, которая от времени стала бурой, как сушёная вишня. Сверху — счета, которые отец складывал годами: за бочки, за подвязки, за серу для лозы, за работу батраков. Жанна знала эти бумаги. Она сама разбирала их прошлой осенью, когда отец уехал и оставил ей «хозяйство на тебя». Бумага была шершавой, сухой, с острыми краями — она порезала палец, когда перебирала счета, и теперь на подушечке осталась тонкая белая полоска.

Она отложила счета в сторону. Под ними — письма. Старые, пожелтевшие, некоторые с водяными знаками. Жанна развернула одно: почерк был витиеватый, чужой, и речь шла о вине, о поставках в Дижон, о ценах на бочки. Дедовские письма. Они пахли пылью и сухим лавандовым цветом — видимо, их когда-то перекладывали веточками от моли. Жанна отложила их тоже.

Потом рука наткнулась на что-то твёрдое — не бумага, а папка. Кожаная, тёмно-зелёная, с вытесненным гербом на обложке. Герб был стёрт, но Жанна разглядела: три башни и лилия над ними. Она видела такой же на воротах замка, когда ходила туда с отцом сдавать вино. Кожа папки была холодной, чуть влажной, и на ощупь напоминала кожу змеи.

Сердце стукнуло чаще. Она открыла папку.

Внутри лежал лист плотной бумаги, сложенный вчетверо. Жанна развернула. Бумага была толще, чем обычная, с тиснением по краю, и вверху — тот же герб, только чётче. На

ощупь она была как тонкая кожа — гладкая, чуть прохладная, с едва заметными выпуклостями там, где проходил герб. Текст был написан от руки, каллиграфическим почерком, с завитушками, и внизу стояла печать — круглая, сургучная, красная, с оттиском. Сургуч пах воском и чем-то ещё — сладковатым, дымным, как ладан в церкви.

Жанна читала медленно, водя пальцем по строчкам. Она умела читать — научил кюре, когда ей было десять, — но такие бумаги ей читать ещё не приходилось. Слова были тяжёлые, казённые, будто вырезанные из камня.

«...сего числа, в присутствии нижеподписавшихся свидетелей, его сиятельство граф Эдмон де Монтравель признал, что дитя женского пола, рождённое от служанки Сюзанны Лакруа, проживающей в замке, является его...»

Жанна запнулась. Перечитала. Потом ещё раз. Потом сказала вслух, тихо, будто пробуя слово на вкус:

— Люк.

И замолчала. В сарае стало тихо, так тихо, что слышно было, как где-то за стеной капает вода с крыши — мерно, как часы. Жанна смотрела на лист и не видела его. Перед глазами стояло другое: как он держит корзину, как проводит пальцем по шраму, как говорит «из разных мест». Как он читает письмо её отца — медленно, будто пробуя слова на вкус. Как он сказал: «Не люблю, когда знают больше, чем нужно».

Теперь она знала.

Она дочитала до конца. Имена свидетелей — кюре, нотариус, ещё кто-то, чьи подписи расплылись от времени. Дата. Печать.

Жанна сложила лист, но не убрала обратно в папку. Держала в руках. Пальцы дрожали — не от страха, а от чего-то другого, чему она не находила названия. Может быть, от злости. Может быть, от обиды. Он знал, кто он. И молчал. Молчал, когда она спрашивала, откуда он. Молчал, когда деревня называла его безродным. Молчал, когда Тома стоял на меже и спрашивал, что он здесь делает.

А может, и не знал. Может, он искал эту бумагу. Может, поэтому и пришёл в Сен-Клер — не работу искать, а искать то, что лежало в чужом сундуке.

Жанна подумала об этом — и почувствовала, как внутри что-то холодное шевельнулось. Подозрение. Оно было неприятным, как мышь в подполе: знаешь, что она там, но не хочешь лезть. И ещё — привкус во рту стал сильнее, горький, будто она лизнула ржавое железо.

Она отложила лист в сторону и снова заглянула в папку. Под метрикой лежало ещё несколько бумаг — тоньше, проще. Жанна вытащила верхнюю. Это была долговая расписка. Почерк отца — она узнала бы его из тысячи: крупный, неровный, с наклоном вправо, будто он писал быстро, чтобы не передумать.

«Я, Пьер Бонне, виноградарь из Сен-Клера, обязуюсь выплатить господину Этьену Рошу, виноторговцу из Бона, сумму в восемьсот ливров в срок до первого ноября сего года. В обеспечение обязуюсь заложить участок земли, именуемый «Старая лоза», площадью...»

Жанна остановилась. Восемьсот ливров. Она знала о долге, но не знала суммы. Отец никогда не говорил цифру. Он говорил: «Не твоя забота», «Я разберусь», «Ты только работай, а деньги — моё дело».

Восемьсот ливров. За участок, который приносит в хороший год триста, а в плохой — сто.

Она перевернула лист. На обороте было ещё что-то — приписка, сделанная другим почерком, мелким и аккуратным.

«Означенный участок заложен повторно, в обеспечение займа у того же кредитора, от того же числа, на сумму в четыреста ливров. Общая сумма долга — тысяча двести ливров».

Жанна перечитала. Потом ещё раз. Буквы не менялись.

Тысяча двести.

Она сидела на полу сарая, держа в руках бумагу, и чувствовала, как холод пробирается через юбку, через рубаху, до костей. Тысяча двести ливров. Это было больше, чем весь участок стоил. Это было больше, чем дом. Это было больше, чем она могла собрать за десять лет, если бы работала одна, без сна, без отдыха, без единого нового платка.

Отец заложил землю дважды. У одного и того же кредитора. И не сказал ей.

Она вспомнила его письмо: «Не продавай землю. Никому. Даже если будут предлагать хорошую цену. Земля — это всё, что у нас есть». И подумала: а что, если он знал? Что, если он писал это, зная, что земля уже не его? Что, если он уехал не «искать работу», а потому, что не мог смотреть ей в глаза?

Жанна положила бумагу на колени. Руки у неё были холодные. В сарае пахло плесенью и мокрой соломой. Где-то капала вода. Во рту было сухо, горько, и она вдруг поняла, что не помнит, когда последний раз пила.

Она сидела так долго. Не знала сколько. Может, час. Может, два. Думала о том, что теперь делать. И не находила ответа.

Когда она вышла из сарая, небо всё ещё было серым, но дождь перестал, и в воздухе пахло мокрой землёй и чем-то ещё — горьким, травяным, наверное, полынью, которая росла у межи. На дороге, метрах в двадцати от дома, стояла женщина. Жанна не сразу узнала её — та была в платке, надвинутом на глаза, и в тёмном платье. Потом узнала: мадам Леру, вдова. Та самая, что стояла у лавки.

Мадам Леру смотрела на неё. Прямо, не отводя глаз. И в этом взгляде не было ни любопытства, ни злобы — только холодное, оценивающее внимание, как у торговца, который решает, стоит ли товар своих денег. Жанна выдержала взгляд. Не отвела. Мадам Леру постояла ещё секунду — и отвернулась. Пошла по дороге в сторону деревни, не оглядываясь.

Жанна смотрела ей вслед. В горле стоял ком. Она знала, что это значит. Знала, что теперь мадам Леру расскажет всем, что видела Жанну выходящей из сарая с какими-то бумагами в руках. И деревня начнёт гадать: что она там нашла? Что скрывает?

Давление не исчезло. Оно просто ждало.

В доме она положила обе бумаги на стол. Метрику — слева. Расписку — справа. Села напротив и стала смотреть, как на столе лежат два куска её жизни, о которых она ничего не знала.

Метрика была чужая. Расписка — своя. И обе были тяжёлые.

Она думала о Люке. О том, как он сидел у реки и говорил: «Я просто человек, которому некуда идти». И о том, что, может быть, это было правдой. А может, и нет. Может, ему было куда идти — в замок, к нотариусу, к бумагам. И он шёл. Только не туда, куда она думала.

Жанна вспомнила, как он спросил про отца: «Твой отец уехал?» И как она ответила. И как он сказал: «А ты здесь одна». Не «бедная», не «как же ты». Просто «одна». Так говорят люди, которые сами знают, что это такое.

А потом она вспомнила, как он сказал: «Потому что здесь можно». Про восход. И подумала: а что, если он говорил не про восход? Что, если он говорил про то, что здесь, в Сен-Клере, его никто не знает? Что здесь он может быть просто Люком — батраком, пришлым, человеком без имени?

И что будет, если она скажет ему, что знает?

Жанна встала, взяла метрику, поднесла к огню. Пламя в очаге было слабое, но достаточное. Бумага была сухая, старая, она бы вспыхнула сразу.

Она держала её над огнём. Рука не дрожала.

Потом опустила. Положила обратно на стол.

Нет. Это не её бумага. Это его. И решать должен он.

К вечеру она пошла к Клеману. Не к Люку — к Клеману. Ей нужно было с кем-то поговорить, а Клеман был старым, мудрым и умел молчать так, что молчание было полезнее слов.

Он сидел в мастерской, чинил бочку. Увидев Жанну, отложил инструмент.

— Ты чего? — спросил он. — На тебе лица нет.

— Клеман, — сказала она. — Ты знал, что в сарае у нас лежит старый сундук?

— Знал. Я его твоему деду помогал ставить. Лет сорок назад.

— А что в нём — знал?

Клеман помолчал. Потом сказал:

— Знал, что бумаги. А какие — не знал. Твой дед не любил, когда лезут в его сундук. Говорил: «Там то, что должно остаться в семье».

— А отец?

— Что отец?

— Он знал, что там?

Клеман посмотрел на неё внимательно. Потом сказал:

— Жанна, если ты что-то нашла — скажи прямо. У меня поясница, я не могу долго сидеть в позе вопросительного знака.

Жанна усмехнулась — коротко, без веселья. Потом сказала:

— Я нашла долговую расписку. Земля заложена дважды. Тысяча двести ливров.

Клеман молчал. Долго. Потом сказал:

— Я знал, что долг есть. Но не знал, что такой.

— И что мне делать?

— Не знаю. — Он потёр поясницу. — Но я знаю одно: если кредитор тот, о ком я думаю, — он ждать не будет. Этьен Рош из Бона. Он скупает земли у должников. Уже пять участков скупил за последние три года.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось.

— Ты его знаешь?

— Видел. Он приезжал сюда прошлой осенью, когда твой отец ещё был дома. Они о чём-то говорили у мельницы. Я не слышал о чём, но твой отец после этого ходил чернее тучи.

Клеман вдруг выпрямился, отложил бочку в сторону. Голос его стал жёстче.

— Жанна. Слушай меня внимательно. Если этот человек придёт к тебе — не подписывай ничего. Ничего, слышишь? Ни одной бумаги. Даже если он будет говорить, что это простая формальность. Даже если он будет давить. Рош не прощает долгов — он их собирает. Как паук мух. И если ты подпишешь что-то не то, он заберёт не только землю. Он заберёт всё.

— Клеман...

— Я серьёзно. — Он посмотрел на неё, и в его глазах было что-то, чего она раньше не видела, — страх. — Твой отец был дураком, что связался с ним. Не будь дурой ты.

Жанна кивнула. В горле стоял ком.

— Спасибо, Клеман.

— Не за что. — Он снова взялся за бочку, но руки у него дрожали. — Только ты это... не делай глупостей. Если что — приходи. Я старый, но кое-что ещё могу.

Жанна вышла от него и пошла домой. По дороге встретила Мадлен — та несла воду от колодца. Увидев Жанну, остановилась.

— Ты чего такая? — спросила она. — Будто увидела привидение.

— Устала.

— Ага. Устала. — Мадлен помолчала. — Слышала, ты была у Брижит.

— Была.

— И что?

— Ничего. Она не будет молоть.

Мадлен вздохнула.

— Жанна...

— Не сейчас, Мадлен. Пожалуйста.

Мадлен посмотрела на неё. Потом кивнула.

— Ладно. Но ты знай: если что — я рядом.

Она пошла дальше. Жанна смотрела ей вслед и думала: а ведь она правда рядом. Просто её «рядом» — это «перестань с ним разговаривать». А ей нужно другое «рядом». Такое, где можно не переставать.

Вечером она спустилась к реке. Люк уже был там. Сидел на камне, смотрел на воду. Услышав шаги, обернулся.

— Ты пришла, — сказал он. — Я думал, не придёшь.

— Я тоже думала.

Она села рядом. Ближе, чем вчера. Не так близко, как в первый вечер, но ближе, чем вчера.

— Что-то случилось? — спросил он.

Жанна помолчала. Потом сказала:

— Я нашла в сарае старый сундук.

Люк не пошевелился. Но она заметила, как его рука — та, что лежала на колене, — чуть напряглась.

— И что в нём?

— Бумаги. Старые. Дедовские.

— Понятно.

Она ждала. Он не спросил, что за бумаги. Не спросил, зачем она туда полезла. Просто сидел и смотрел на воду.

— Люк, — сказала она. — Мне надо тебе кое-что сказать.

Он повернулся к ней. В лунном свете его лицо было спокойным, но глаза — настороженными.

— Говори.

Жанна полезла в карман передника. Пальцы нащупали сложенный лист. Она вытащила его, но не развернула.

— Я нашла метрику, — сказала она. — На имя Люка. Сын графа де Монтравеля. От служанки Сюзанны Лакруа.

Тишина. Такая, что слышно было, как где-то далеко плещется рыба.

Люк не двигался. Смотрел на неё. Потом медленно, очень медленно, большой палец правой руки прошёл по шраму на подбородке — один раз. Потом ещё раз. И ещё.

Жанна ждала.

— Ты прочитала, — сказал он наконец. Голос был ровный, но в нём было что-то, чего она раньше не слышала. Может быть, страх. Может быть, облегчение.

— Прочитала.

— И что теперь?

— Не знаю. — Она развернула лист. — Это твоё. Я не стала жечь.

Люк посмотрел на бумагу. Потом на неё. Потом снова на бумагу.

— Ты не должна была это находить, — сказал он тихо.

— Я знаю. Но нашла.

— И что ты хочешь?

— Я хочу знать, — сказала Жанна, и голос её стал твёрже. — Ты знал? Когда пришёл сюда — ты знал, кто ты?

Люк молчал. Долго. Потом сказал:

— Знал.

— И молчал.

— Молчал.

— Почему?

Он посмотрел на воду. Потом сказал:

— Потому что, если бы я сказал, ты бы смотрела на меня по-другому.

— Как?

— Как на сына графа. Или как на самозванца. Или как на человека, который может что-то дать. — Он помолчал. — А ты смотрела на меня как на человека. Просто человека. Это... — Он запнулся. — Это было лучше.

Жанна смотрела на него. В лунном свете его лицо было усталым, и шрам на подбородке казался глубже, чем обычно.

— Ты искал эту бумагу, — сказала она. — Когда пришёл.

— Искал.

— И нашёл?

— Нет. — Он покачал головой. — Я не знал, где она. Думал, в замке. Или у нотариуса. Я не думал, что она в чужом сарае.

Жанна посмотрела на лист в своих руках. Потом протянула ему.

— Возьми.

Люк не взял. Смотрел на бумагу, как на что-то опасное. Потом отвёл взгляд.

— Не сейчас.

— Почему?

— Потому что если я возьму, — сказал он, — это будет значить, что я хочу то, что за ней стоит. А я не знаю, хочу ли.

— А чего ты хочешь?

Он посмотрел на неё. Долго. Потом сказал:

— Я хочу сидеть здесь. С тобой. У реки. И чтобы ничего не менялось.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось — тепло, до боли.

— Но что-то изменится, — сказала она. — Рано или поздно.

— Знаю.

— И что тогда?

Люк молчал. Потом протянул руку.

— Дай.

Она вложила лист ему в ладонь. Он взял его — осторожно, будто это было что-то живое, что могло укусить. Развернул. Посмотрел на печать. Долго. Потом сложил и убрал за пазуху.

— Тогда я решу, — сказал он. — Но не сегодня.

Он встал. Подал ей руку. Жанна взялась. Он помог ей подняться — и на этот раз не отпустил сразу. Держал её руку в своей, и она чувствовала, как его пальцы дрожат.

— Спасибо, — сказал он. — За то, что не сожгла.

— Я думала.

— Я знаю. — Он чуть улыбнулся. — Ты всегда думаешь.

Она улыбнулась в ответ — впервые за день. Улыбка вышла кривой, усталой, но настоящей.

— Спокойной ночи, Люк.

— Спокойной ночи, Жанна.

Она пошла по тропе вверх. На этот раз оглянулась. Он стоял у воды, смотрел ей вслед. В руке — ничего. Бумага была за пазухой. Но ей казалось, что он держит что-то ещё. Что-то, чего она не видела.

Дома она села за стол. Расписка лежала перед ней. Тысяча двести ливров. Этьен Рош. Первое ноября.

Жанна взяла трубку отца с полки. Подержала в руках. Холодная. И вдруг вспомнила — не лицо, не голос, а руки. Как отец держал эту трубку: большой палец на чубуке, указательный

придерживает снизу. Она попыталась вспомнить, какие у него были руки — и не смогла. Помнила только, что они были тёплые. И что пахли табаком и землёй.

Она посмотрела на трубку. Потом на расписку. Потом снова на трубку.

И впервые за долгое время подумала: а что, если он не вернётся? Что, если она останется одна — с долгом, с землёй, с чужим сыном графа, который сидит у реки и не знает, что делать?

Она положила трубку обратно на полку. Не холодную, не тёплую — просто трубку. Кусок дерева.

И подумала: завтра она пойдёт к нотариусу. Не к Этьену Рошу — к своему, к мэтру Бертену. Спросит, что можно сделать. Может, он подскажет. Может, поможет. Может, хотя бы объяснит, как всё это — метрика Люка, долг отца, земля — связано между собой.

А потом она пойдёт к Люку. И скажет ему то, что думает.

Она легла спать и во сне увидела сундук. Он был открыт, и внутри лежали бумаги — много, бесконечно много. Она перебирала их, ища что-то, но не находила. А потом увидела Люка. Он стоял рядом и держал в руках метрику. И смотрел на неё так, будто ждал, что она скажет.

Она проснулась от того, что ставня хлопнула. За окном было серо. Дождь снова начался — тихий, мелкий, осенний.

Жанна встала. Оделась. Взяла расписку. И вышла из дома.

Глава 5. Клеман и старая лоза

Клеман жил на другом конце деревни, в доме, который достался ему от отца, а отцу — от деда. Дом был старый, каменный, с низкой крышей, поросшей мхом, и с мастерской, пристроенной сбоку, где он чинил бочки, чинил инструмент и вообще делал всё, что требовало рук и терпения.

Жанна пришла к нему рано, когда солнце только поднялось над холмом и роса ещё блестела на траве. По дороге она встретила соседа, старого Пьера, который гнал свою козу на выпас. Увидев её, он кивнул — коротко, без обычной болтовни — и отвёл глаза. Коза заблеяла, Пьер дёрнул верёвку, и они пошли дальше. Жанна смотрела им вслед. Вчера Пьер ещё спрашивал, как дела, и предлагал помочь с телегой. Сегодня — молчание. Деревня не забыла. Деревня просто ждала.

Она несла с собой кусок хлеба и головку сыра — не для себя, для Клемана. Знала, что он забывает есть, когда работает.

Клеман сидел на пороге мастерской, разложив на коленях старый секатор. Увидев Жанну, поднял голову.

— Ты чего в такую рань? — спросил он. — Случилось что?

— Случилось. — Она протянула ему хлеб и сыр. — Вот. Ты вчера не поел.

— Кто тебе сказал?

— Мадлен. Говорит, ты весь день просидел с бочкой и ничего не ел.

Клеман хмыкнул, но хлеб взял. Откусил, прожевал медленно, будто делал одолжение.

— Бочка была плохая, — сказал он. — Дно прогнило. Пришлось менять.

— Ты мог поесть.

— Мог. — Он пожал плечами. — Но не стал.

Жанна села рядом на порог. В мастерской пахло стружкой, дёгтем и чем-то ещё — кисловатым, застоявшимся, наверное, старым лаком. На полу валялись обрезки кожи, куски верёвки, ржавые гвозди. Клеман никогда не убирался — говорил, что в порядке он ничего не находит.

— Клеман, — сказала она. — Я нашла на участке больную лозу.

Он перестал жевать. Медленно повернул голову.

— Какую лозу?

— Дальнюю. У межи. Листья жёлтые. А на стволе — какая-то липкая жидкость. Пахнет сладковато, тошнотворно.

Клеман отложил хлеб. Встал. Вытер руки о штаны.

— Покажи.

Они пошли через виноградник. Солнце поднималось выше, становилось жарко, и трава под ногами уже начала сохнуть — дождь, который прошёл ночью, впитался в землю, и теперь она была мягкой, но не мокрой. Пахло пылью и чем-то ещё — сладковатым, гниющим. Тем самым запахом.

Жанна привела его к дальней лозе. Клеман присел на корточки. Долго смотрел на жёлтые листья. Потрогал ствол. Понюхал пальцы. Потом выпрямился, и лицо у него стало серым.

— Плохо, — сказал он.

— Что это?

— Филоксера. Или что-то похожее. — Он помолчал. — Я видел такое раньше. В Боне. На участке у одного человека. Он не обратил внимания. А через месяц у него половина лоз засохла.

— Что с ним стало? — спросила Жанна.

Клеман посмотрел на неё. Долго. Потом сказал:

— Он повесился. В сарае. Через два месяца после того, как потерял всё. — Он помолчал. — У него было трое детей. Жена. Он не смог смотреть им в глаза.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось. Не от страха — от чего-то более холодного.

— Клеман...

— Я не говорю, что ты должна сделать то же. — Он покачал головой. — Я говорю, что это серьёзно. Серьёзнее, чем долг. Долг можно выплатить. А филоксеру — нет. Её можно только остановить.

— Как?

— В Боне тот человек выкорчевал все лозы. Сжёг. И посадил новые. Через три года у него был новый виноградник. Но он потерял всё, что было.

— А если не выкорчёвывать?

— Тогда она распространится. На твой участок. На соседские. На всю деревню.

Жанна смотрела на лозу. На жёлтые листья. На липкую жидкость. И думала: сначала долг, потом метрика Люка, теперь это. Будто кто-то решил проверить, сколько она выдержит.

— Клеман, — сказала она. — А если привить?

— Что?

— Ты обещал показать, как прививать лозу. Может, если привить здоровый побег к больной лозе — он выживет?

Клеман задумался. Долго. Потом сказал:

— Не знаю. Может быть. Но это риск. Если филоксера в корнях — она убьёт и побег. И тогда ты потеряешь и старую лозу, и новую.

— А если не прививать?

— Тогда она умрёт сама. И заразит другие.

Жанна стояла на меже, глядя на жёлтые листья. Солнце поднялось выше, стало припекать. Пахло пылью и чем-то ещё — сладковатым, гниющим, тем самым запахом, который она почувствовала на пальцах.

— Я не буду выкорчёвывать, — сказала она.

— Жанна...

— Не буду. Пока не попробую. Если прививка не поможет — тогда выкорчую. Но сначала — попробую.

Клеман смотрел на неё. Долго. Потом кивнул.

— Хорошо. Тогда пошли. Пока солнце не поднялось — самое время.

Он повёл её на дальний участок, туда, где лоза была старой, корявой, с толстыми стволами, похожими на узловатые пальцы. Жанна знала это место: здесь росли лозы, которые ещё дед сажал. Они давали мало ягод, но ягода была сладкой, густой, с каким-то особенным вкусом — не таким, как у молодых лоз. Отец говорил, что это потому, что старая лоза берёт из земли всё, что там есть, и отдаёт всё, что может.

— Вот, — сказал Клеман, останавливаясь у одной из лоз. — Смотри. Это старая лоза. Ей лет сорок, может, больше. Она умирает.

Жанна посмотрела. Лоза действительно выглядела больной: кора шелушилась, на стволе были трещины, а листья — не зелёные, а какие-то желтоватые, будто их чем-то обожгли. Ствол был тёплый на ощупь, шершавый, как старая кожа.

— Что с ней?

— Не знаю. Может, старость. Может, что-то ещё. — Клеман провёл рукой по стволу, будто гладил животное. — Но её можно спасти. Если привить к ней молодой побег. Тогда корни останутся старые, а лоза будет новая. Понимаешь?

Жанна кивнула. Она слышала о прививках, но никогда не делала сама.

— Смотри, — сказал Клеман. Он достал из кармана нож — маленький, острый, с деревянной ручкой. — Сначала срезаешь старый ствол. Вот так. — Он сделал надрез, аккуратный, ровный, на высоте ладони от земли. Нож вошёл в дерево с тихим хрустом, будто разгрыз орех. — Потом берёшь молодой побег. Вот этот. — Он показал на тонкую веточку, которая росла у основания лозы. — Срезаешь его наискосок. Видишь? Чтобы получился клин.

Жанна смотрела. Руки у Клемана были старые, в морщинах и мозолях, но двигались точно, уверенно, будто сами знали, что делать. Он срезал побег — тот был холодный, только что с лозы, ещё не согрелся на солнце, — заострил конец, вставил в разрез на стволе.

— Теперь обвязываем. — Он достал из кармана полоску ткани. — Плотно, но не слишком. Чтобы держалось, но не душило.

— А если слишком плотно?

— Тогда лоза задохнётся. Или пойдёт сок, и всё сгниёт. — Он завязал ткань, подёргал. — Вот. Теперь ждём. Если через месяц побег приживётся — будет новая лоза. Если нет — придётся пробовать снова.

Жанна смотрела на привитую лозу. Ствол старый, корявый, а сверху — тоненькая веточка, обмотанная тканью. Как будто кто-то поставил заплатку на что-то большое и уставшее.

— Дай попробую, — сказала она.

Клеман протянул ей нож. Жанна взяла. Нож был тяжёлый, холодный, с лезвием, отточенным до блеска.

— Срезай вот здесь, — показал Клеман на другую лозу. — Только не торопись. Если срежешь криво — побег не приживётся.

Жанна присела на корточки. Руки у неё дрожали — не от страха, от волнения. Она приставила нож к стволу, надавила. Лезвие вошло в дерево с тихим хрустом. Она повела рукой, стараясь держать ровно.

— Криво, — сказал Клеман.

— Знаю.

— Не знаешь. Ты думаешь, что знаешь, но не знаешь. — Он наклонился, поправил её руку. — Вот так. Видишь? Чтобы срез был гладкий. Тогда побег ляжет ровно.

Жанна попробовала снова. На этот раз получилось лучше.

— Уже ближе, — сказал Клеман. — Теперь бери побег. Вон тот, справа.

Она срезала побег. Он был холодный, тонкий, и на срезе выступила капля сока — прозрачная, тягучая, пахнущая терпко и горько. Жанна заострила конец — не так ловко, как он, но сносно. Вставила в разрез.

— Теперь обвязывай.

Жанна взяла полоску ткани. Обмотала вокруг ствола — туго, но не слишком. Завязала.

— Дёрни, — сказал Клеман.

Она дёрнула. Ткань держалась.

— Хорошо. — Клеман кивнул. — Для первого раза — хорошо.

Жанна выпрямилась, вытерла руки о передник. На пальцах остался запах дерева и чего-то ещё — терпкого, горького, как сок старой лозы. Она поднесла пальцы к лицу. Пахло землёй и чем-то живым.

— Клеман, — сказала она. — А зачем прививать? Почему не посадить новую лозу?

— Можно. Но новая лоза будет слабой. Ей нужно время, чтобы укорениться. А старая — она уже в земле. У неё корни глубокие. Она знает, где взять воду. Если привить к ней молодой побег — он получит всё это. И вырастет сильным.

— Как человек? — спросила Жанна. — Который учится у старого?

Клеман посмотрел на неё. Потом усмехнулся.

— Может, и так. Только люди не всегда приживаются. Лоза — она проще. Ей не надо думать, кто ты и откуда. Ей надо только, чтобы сок шёл.

Они работали ещё час. Жанна привила три лозы. Первая — криво, вторая — лучше, третья — почти как у Клемана. Он не хвалил, но и не ругал. Просто смотрел, кивал, поправлял.

Потом они сели на меже, и Клеман достал из кармана трубку. Не такую, как у отца Жанны, — попроще, из обожжённой глины. Набил табаком, закурил. Дым поплыл вверх, тонкий, сизый, пахнущий чем-то сладким и горьким одновременно.

— Клеман, — сказала Жанна. — Я вчера нашла в сундуке расписку.

Он не повернулся. Смотрел на дым.

— Знаю. Ты говорила.

— Я тогда не всё сказала.

Клеман помолчал. Потом вынул трубку изо рта.

— Говори.

— Там было две расписки. Одна на восемьсот ливров. Другая на четыреста. Итого тысяча двести. И обе — на один и тот же участок.

Клеман молчал. Долго. Потом сказал:

— Я так и думал.

— Что?

— Что он заложил дважды. — Клеман снова затянулся. — Твой отец был не дурак. Но он был слабый. Слабые люди делают глупости. Не потому, что злые, а потому, что боятся.

— Ты знал?

— Догадывался. — Он посмотрел на неё. — Когда он приезжал прошлой осенью, тот человек из Бона, — я видел, как они говорили у мельницы. Твой отец был бледный. Руки тряслись. Я тогда подумал: что-то не то. Но не спросил.

— Почему?

— Потому что не моё дело. — Клеман выбил трубку о камень. — А теперь — моё. Потому что ты здесь. И потому что я тебе обещал.

Он помолчал. Потом сказал:

— Жанна. Твой участок не потерян. Он заложен дважды. Это разные вещи.

— Как это?

— Потерян — значит, его уже нет. Забрали. А заложен — значит, он ещё твой. Пока ты платишь проценты — или пока кредитор ждёт. Но ждать он будет не вечно. Первое ноября — это срок. Если к первому ноября ты не выплатишь долг — он заберёт землю.

— У меня нет тысячи двухсот ливров.

— Знаю.

— И я не заработаю их до ноября.

— Знаю.

— Тогда что мне делать?

Клеман помолчал. Потом сказал:

— Не знаю. Но я знаю одно: если ты ничего не сделаешь — потеряешь всё. Если сделаешь — может, потеряешь не всё. Может, найдёшь выход.

Жанна смотрела на него. В его глазах не было жалости. Была усталость. И что-то ещё — упрямство, что ли.

— Ты поможешь? — спросила она.

— Чем смогу. — Он встал, отряхнул штаны. — Но я старый. У меня нет денег. У меня есть только руки и голова. Если этого хватит — я с тобой.

Жанна кивнула. В горле стоял ком.

— Спасибо, Клеман.

— Не за что. — Он пошёл к мастерской, но на полдороге обернулся. — И ещё. Ты привила три лозы. Первая — криво. Вторая — лучше. Третья — хорошо. Если через месяц они

приживутся — значит, у тебя руки на месте. А если нет — значит, будем пробовать снова. Поняла?

— Поняла.

— Хорошо. — Он ушёл.

Днём Жанна вернулась на свой участок. Надо было проверить лозы — после дождя они могли загнить. Солнце стояло в зените, жара была такая, что воздух над лозой дрожал, как студень. Она шла вдоль рядов, наклонялась, осматривала гроздья. Всё было чисто. Ягода плотная, кожура блестит, ни плесени, ни гнили.

А потом она снова увидела.

На дальней лозе — той самой — листья были ещё желтее. И липкая жидкость растеклась дальше, захватила соседний побег. Жанна присела, потрогала. Пальцы стали липкими. Пахло сладковато, тошнотворно.

Она выпрямилась. Сердце стукнуло чаще.

— Клеман! — крикнула она.

Он пришёл через несколько минут — запыхавшийся, с секатором в руке.

— Что? — спросил он. — Что случилось?

— Смотри. — Жанна показала на лозу.

Клеман присел. Посмотрел на листья. Потрогал ствол. Понюхал пальцы. Потом выпрямился, и лицо у него стало серым.

— Быстро, — сказал он. — Она распространяется быстро.

— Что делать?

— Не знаю. — Клеман покачал головой. — Может, прививка и поможет. Может, нет. Но ты должна следить. Каждый день. Если увидишь, что зараза пошла дальше — скажи мне. Слышишь?

— Слышу.

— И ещё. — Он помолчал. — Не говори пока никому. Если деревня узнает, что у тебя филоксера — они могут решить, что это от твоей земли. Что ты сама виновата. И тогда... — Он не договорил.

— Тогда что?

— Тогда они могут решить, что тебе здесь не место.

Жанна кивнула. В горле стоял ком.

Вечером она спустилась к реке. Люк уже был там. Сидел на камне, смотрел на воду. Услышав шаги, обернулся.

— Ты пришла, — сказал он. — Я думал, не придёшь.

— Я тоже думала.

Она села рядом. Ближе, чем вчера. Не так близко, как в первый вечер, но ближе, чем вчера.

— Что-то случилось? — спросил он.

Жанна помолчала. Потом сказала:

— Я была у Клемана. Он учил меня прививать лозу.

— Получилось?

— Получилось. Три лозы.

— Хорошо.

Она помолчала. Потом сказала:

— А потом я нашла на своём участке больную лозу. Филоксера.

Люк повернулся к ней. В лунном свете его лицо было спокойным, но глаза — настороженными.

— Это плохо.

— Знаю. Клеман говорит, в Боне один человек потерял всё. Повесился.

Люк молчал. Потом сказал:

— Что будешь делать?

— Попробую привить. Если не получится — выкорчую.

Люк кивнул. Не сказал «это опасно» или «может, не стоит». Просто кивнул.

— Жанна, — сказал он. — Ты знаешь, что филоксера — это не просто болезнь?

— Что ты имеешь в виду?

— Я слышал о ней. В Лионе. Говорят, она приходит не просто так. Её приносят. Или заносят. Иногда — специально.

Жанна замерла.

— Специально? Кто?

— Не знаю. Но я слышал, что некоторые землевладельцы используют её, чтобы разорить соседей. Или чтобы скупить их землю за бесценок.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось. Этьен Рош. Человек, который скупает земли. Человек, который приезжал прошлой осенью. Человек, который ждёт первого ноября.

— Ты думаешь, это он? — спросила она.

— Я не знаю. — Люк покачал головой. — Я просто говорю, что слышал. Может, это совпадение. Может, нет.

Жанна смотрела на воду. Думала о том, что теперь у неё три проблемы: долг, метрика Люка и филоксера. И все три могут быть связаны. И все три могут быть частью чего-то большего, чего она не видит.

— Люк, — сказала она. — А что ты будешь делать? С метрикой?

Он помолчал. Потом сказал:

— Не знаю. Я думал об этом. Всю ночь.

— И что?

— И понял, что не хочу быть графом. — Он усмехнулся, но в усмешке не было веселья. — Я не знаю, как это — быть графом. Я знаю, как носить мешки. Как считать ящики. Как обрезать лозу. А быть графом — не знаю.

— Но ты мог бы получить землю. Деньги. Власть.

— Мог бы. — Он посмотрел на неё. — А потом что? Я бы стал тем, кем никогда не был. И ты бы смотрела на меня и видела бы не меня, а титул.

— Я бы не стала.

— Стала бы. Все бы стали. — Он помолчал. — Я не хочу этого. Я хочу быть Люком. Просто Люком.

Жанна смотрела на него. В лунном свете его лицо было усталым, и шрам на подбородке казался глубже, чем обычно.

— Тогда зачем ты взял метрику? — спросила она.

— Потому что это моя жизнь. — Он пожал плечами. — Я не хочу быть графом. Но я хочу знать, кто я. Откуда. Кто была моя мать. Почему она умерла. Почему я оказался там, где оказался.

— Ты не знаешь?

— Не знаю. — Он помолчал. — Я помню только, что она пахла лавандой. И что у неё были холодные руки. И что она кашляла. Всё время кашляла.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось. Она хотела сказать что-то — что-то тёплое, что-то, что могло бы его утешить, — но не находила слов.

— Люк, — сказала она наконец. — А что ты будешь делать? Завтра? Послезавтра?

— Не знаю. — Он посмотрел на неё. — Может, останусь. Может, уйду. Я не решил.

— Останься.

Слово вырвалось прежде, чем она успела подумать. Люк посмотрел на неё. Долго.

— Почему?

— Потому что... — Она запнулась. — Потому что мне нужен кто-то, кто умеет читать. И кто не боится филоксеры. И кто...

Она замолчала. Люк ждал.

— И кто? — спросил он тихо.

— И кто смотрит на меня так, будто я — это я. А не дочь мельника. Не должница. Не женщина, которая ведёт себя странно.

Люк молчал. Долго. Смотрел на воду. Потом на неё. Потом снова на воду. Жанна видела, как он думает — как шевелятся желваки на скулах, как палец дёргается, будто хочет подняться к шраму, но не поднимается.

— Я не знаю, — сказал он наконец.

— Чего ты не знаешь?

— Не знаю, могу ли остаться. — Он помолчал. — Если я останусь — деревня будет говорить. Будет давить. Будет вредить. Тебе. Не мне — тебе. А я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня.

— Я уже страдаю.

— Знаю. Но это другое. Это из-за долга. Из-за земли. А если я останусь — это будет из-за меня. И я буду виноват.

Жанна смотрела на него. В лунном свете его лицо было не просто усталым — оно было измученным. Будто он думал об этом всю ночь и не нашёл ответа.

— Люк, — сказала она. — Я не прошу тебя остаться навсегда. Я прошу остаться сейчас. Завтра. Послезавтра. Насколько сможешь.

Он помолчал. Потом протянул руку и взял её за руку. Пальцы у него были тёплые, шершавые, и он держал крепко, но не сжимал слишком сильно.

— Я останусь, — сказал он. — Пока могу.

Жанна кивнула. В горле стоял ком. Она смотрела на его руку в своей и думала: вот оно. Вот то, что она искала. Не слова. Не обещания. Просто рука. Просто «пока могу».

— Спасибо, — сказала она.

— Не за что.

Они сидели так долго. Молчали. Река шумела тихо, почти неслышно. Где-то в ивах запела ночная птица — три ноты, повторяющиеся, как вопрос без ответа.

Потом Люк сказал:

— Жанна.

— Что?

— Ты знаешь, что филоксера — это не только болезнь лозы?

— Ты уже говорил.

— Нет. Я о другом. — Он повернулся к ней. — Филоксера — это то, что убивает корни. Но лоза может выжить, если её привить. Ты сама говорила.

— Говорила.

— Так вот. — Он помолчал. — Может, и с людьми так. Может, если у человека больные корни — ему нужно привиться к чему-то другому. Чтобы выжить.

Жанна смотрела на него. В лунном свете его лицо было спокойным, но в глазах было что-то, чего она раньше не видела. Может быть, надежда.

— Ты про себя? — спросила она.

— Про себя. И про тебя. — Он сжал её руку. — Может, мы оба — больные лозы. И может, нам нужно привиться друг к другу. Чтобы выжить.

Жанна почувствовала, как что-то тёплое поднимается в груди. Не злость. Не страх. Что-то другое. Что-то, чему она не находила названия.

— Может, — сказала она. — Может, и так.

Они сидели так до темноты. Рука в руке. Молча. И в этом молчании было больше, чем в любых словах.

Дома она села за стол. Расписка лежала перед ней. Тысяча двести ливров. Этьен Рош. Первое ноября. И рядом — метрика Люка, которую он оставил ей на хранение. И ещё — больная лоза, которую она видела днём.

Жанна взяла трубку отца с полки. Подержала в руках. Холодная. Но на этот раз она не положила её сразу. Погладила — медленно, большим пальцем по чубуку, как когда-то гладил отец. Потом положила на место. Не холодную, не тёплую — просто трубку. Но на этот раз она не отвернулась.

И подумала: может, Клеман прав. Может, участок не потерян. Может, его можно спасти. Привить. Вылечить. Может, и её жизнь можно привить к чему-то другому. К Люку. К Клеману. К земле, которая ещё её.

Она посмотрела на трубку. Потом на расписку. Потом снова на трубку.

И впервые за долгое время подумала: а что, если она справится? Что, если она найдёт выход? Что, если она не просто выживет — а сделает так, чтобы всё было по-другому?

Завтра она пойдёт к нотариусу. Потом — к Клеману. Потом — к Люку. И будет делать то, что должна. Шаг за шагом. Прививка за прививкой.

Она легла спать и во сне увидела лозу. Старую, корявую, с больными корнями. Но сверху — молодой побег. Зелёный. Живой. И он тянулся вверх, к солнцу.

Глава 6. Пощёчина

Утро было ясное, безоблачное, и от этого только тревожнее. Жанна проснулась рано, когда солнце ещё не поднялось, и лежала в постели, глядя в потолок. В доме было тихо, только мышь скреблась где-то за стеной, и ставня поскрипывала на ветру. Во рту был привкус сухости и чего-то горького — то ли от колодезной воды, то ли от мыслей. Она думала о метрике. О том, что бумага лежит в ящике стола, под скатертью, и что Люк оставил её ей на хранение. О том, что она не знает, что с ней делать.

Она встала, оделась, взяла метрику. Бумага была прохладная, плотная, и на ощупь напоминала тонкую кожу. Жанна сложила её вчетверо, убрала за пазуху — поближе к телу, чтобы не потерять. Потом вышла из дома.

По дороге она встретила мадам Леру — ту самую вдову, что стояла у лавки. Та несла корзину с яйцами, увидела Жанну и свернула на другую сторону улицы. Не резко, не демонстративно — просто свернула. Как будто Жанна была лужей, которую надо обойти. Жанна смотрела ей вслед и чувствовала, как внутри что-то сжимается. Деревня не забыла. Деревня просто ждала.

Люк работал на дальнем участке — там, где лоза была старой, а ягода мелкой. Жанна знала, что он ушёл туда ещё до рассвета: Клеман говорил, что Люк не любит сидеть без дела. Она шла через виноградник, вдоль рядов, и трава под ногами была мокрая от росы. Пахло землёй и чем-то ещё — сладковатым, тягучим, наверное, переспелой ежевикой у реки.

Она увидела его издалека. Он стоял у лозы, согнувшись, и что-то делал с подвязкой. Рубаха на спине потемнела от пота, и она подумала: как он может работать в такую жару? Но потом вспомнила, что он привык. Он привык ко многому.

— Люк, — позвала она.

Он выпрямился. Обернулся. Увидев её, чуть улыбнулся — одними губами, без глаз. Но улыбка быстро исчезла, когда он увидел её лицо.

— Что-то случилось? — спросил он.

— Надо поговорить.

Он отложил секатор, вытер руки о штаны. Подошёл к ней. Вблизи его лицо было усталым, и шрам на подбородке казался глубже, чем обычно.

— Говори.

Жанна полезла за пазуху. Достала метрику. Протянула ему.

— Это твоё. Я не могу это хранить.

Люк посмотрел на бумагу. Потом на неё. Потом снова на бумагу. В его глазах что-то мелькнуло — не страх, не облегчение, а что-то среднее, как у человека, который ждал удара и не получил его.

— Почему? — спросил он.

— Потому что это не моя тайна. Это твоя. И я не хочу быть частью чего-то, чего я не понимаю.

Он взял бумагу. Развернул. Посмотрел на печать. Долго. Потом сложил и убрал за пазуху.

— Ты никому не скажешь, — сказал он. Это был не вопрос.

— Зачем мне это? — спросила Жанна.

Он помолчал. Большой палец правой руки медленно прошёл по шраму на подбородке — один раз. Потом ещё раз. Жанна уже знала: дважды — значит, врёт. Или боится.

— Чтобы выйти за меня, — сказал он тихо. — Или чтобы продать меня.

Жанна замерла. Внутри что-то оборвалось — резко, как нитка, которую дёрнули слишком сильно. Она почувствовала, как кровь прилила к лицу — горячо, до покалывания в висках. Руки сжались в кулаки сами, без её воли.

— Что?

— Ты слышала.

— Ты думаешь, что я могу тебя продать?

— Я не знаю. — Он смотрел на неё прямо. — Я не знаю, что ты можешь. Я знаю только, что бумага — это деньги. Большие деньги. А у тебя долг. И кредитор. И первое ноября.

Жанна смотрела на него. В его глазах не было злости. Не было подозрения. Была усталость. И что-то ещё — страх, который он пытался спрятать за спокойными словами.

И тогда она ударила.

Ладонь обожгла его щёку — резко, звонко, и звук разнёсся над виноградником, как выстрел. Жанна почувствовала, как её рука дрогнула от удара, как пальцы онемели. Люк не отшатнулся. Только голова дёрнулась в сторону, и на щеке остался красный след — яркий, как отпечаток ладони на снегу.

Он медленно поднял руку. Не для того, чтобы потрогать — чтобы убедиться, что это было на самом деле. Пальцы коснулись щеки, дёрнулись. Он опустил руку.

Жанна стояла, тяжело дыша. Рука горела. Внутри всё кипело — злость, обида, что-то ещё, чему она не находила названия. Во рту был вкус железа — она прикусила губу, сама того не заметив.

— Ты, — сказала она, и голос её дрожал. — Я тебе не продажный человек. Я не торгую людьми. И тайнами. И тобой.

Люк медленно повернул голову. Посмотрел на неё. На щеке краснел след от её ладони.

— Я знаю, — сказал он тихо.

— Тогда зачем ты это сказал?

— Потому что я боюсь.

Слово упало между ними, как камень в воду. Жанна замерла.

— Чего ты боишься?

— Того, что ты сделаешь это. — Он помолчал. — Не потому, что ты плохая. А потому, что у тебя нет выбора. И я не могу тебя винить.

Жанна опустила руку. Злость уходила, оставляя после себя пустоту. И ещё — что-то похожее на стыд. Она ударила его за то, что он сказал правду. За то, что он боялся.

— Я не сделаю этого, — сказала она.

— Я знаю. Теперь знаю.

— Почему теперь?

— Потому что ты ударила. — Он чуть улыбнулся — криво, одной стороной рта. — Если бы ты хотела продать, ты бы не ударила. Ты бы промолчала.

Жанна смотрела на него. В его глазах была не боль. Было что-то другое — облегчение, что ли. Будто он ждал этого удара и получил его.

— Прости, — сказала она.

— Не за что. — Он потрогал щёку. — Я заслужил.

— Нет. Не заслужил. — Она шагнула к нему. — Ты не заслужил. Никто не заслуживает, чтобы его считали продажным.

— Может быть. — Он опустил руку. — Но я не знал, как ещё спросить.

— Спросить о чём?

— О том, что ты собираешься делать. С бумагой. Со мной. Со всем этим.

Жанна помолчала. Потом сказала:

— Я собираюсь молчать.

— Почему?

— Потому что это твоя жизнь. Не моя. И потому что ты не сделал мне ничего дурного. И потому что... — Она запнулась. — Потому что я не хочу, чтобы ты ушёл.

Люк смотрел на неё. Долго. Молчал. Жанна видела, как он думает — как шевелятся желваки на скулах, как палец дёргается, будто хочет подняться к шраму, но не поднимается. Он молчал так долго, что она успела испугаться.

— Я не уйду, — сказал он наконец.

— Ты сказал «пока могу».

— Сказал. — Он кивнул. — Но теперь я говорю «не уйду». Пока ты не прогонишь.

Жанна почувствовала, как что-то тёплое поднимается в груди. Не злость. Не обида. Что-то другое.

— Я не прогоню, — сказала она.

— Хорошо.

Они стояли так, глядя друг на друга. Солнце поднялось выше, и тени от лоз стали короче. Где-то в кустах запела птица — три ноты, повторяющиеся, как вопрос без ответа.

Потом Люк сказал:

— Жанна.

— Что?

— Спасибо.

— За что?

— За то, что ударила. — Он чуть улыбнулся. — И за то, что не продала.

Жанна фыркнула. Смех вышел коротким, неожиданным, и от этого стало легче.

— Ты странный, — сказала она.

— Я знаю.

Она шагнула к нему. Взяла его руку. Пальцы у него были тёплые, шершавые, и он держал крепко.

— Мы будем молчать, — сказала она. — Оба. Ты — про то, что я знаю. Я — про то, что ты граф.

— Я не граф.

— Хорошо. Про то, что ты сын графа.

— Тоже не совсем.

— Ладно. Про то, что ты — тот, кто ты есть. И никто не будет знать. Пока ты сам не решишь.

Люк посмотрел на неё. Долго. Потом кивнул.

— Хорошо.

— И ещё, — сказала Жанна. — Ты должен мне помочь.

— Чем?

— С филоксерой. И с долгом. И с нотариусом. — Она помолчала. — Я не знаю, что делать. А ты умеешь читать. И думать. И ты не боишься.

— Я боюсь, — сказал он. — Просто не показываю.

— Это одно и то же.

Он усмехнулся. На этот раз — по-настоящему.

— Хорошо. Я помогу.

— Спасибо.

Они стояли так ещё минуту. Рука в руке. Молча. И в этом молчании было что-то, чего не было раньше. Доверие. Настоящее, не на словах.

Днём Жанна пошла к нотариусу. Мэтр Бертен жил в Боне, в двух часах ходьбы от Сен-Клера, в доме с каменным крыльцом и тяжёлой дубовой дверью. Жанна шла по дороге, вдоль виноградников, и солнце припекало так, что пот стекал по спине. Она несла с собой расписку — не оригинал, копию, которую сделала сама, — и в голове у неё было сто вопросов.

По дороге она встретила Тома. Он ехал на телеге с мешками муки — видимо, возвращался с мельницы. Увидев Жанну, натянул вожжи. Лошадь остановилась, фыркнула.

— Жанна. Ты куда это одна?

— В Боне. К нотариусу.

— К нотариусу? — Тома поднял бровь. — Зачем?

— По делу.

— По какому делу?

Жанна посмотрела на него. В его глазах было любопытство — и что-то ещё. Может быть, тревога. Может быть, что-то другое.

— По своему, — сказала она.

Тома помолчал. Потом сказал:

— Жанна, ты знаешь, что о тебе говорят?

— Знаю. И мне всё равно.

— А мне не всё равно. — Он наклонился вперёд. — Ты хорошая девушка. Но ты ведёшь себя странно. Сначала этот батрак. Теперь нотариус. Люди начнут думать, что у тебя проблемы.

— У меня и есть проблемы, Тома. — Жанна посмотрела на него прямо. — У меня долг. У меня больная лоза. У меня отец, который уехал и не вернулся. И мне не нужно, чтобы ты говорил мне, что я веду себя странно. Мне нужно, чтобы ты помог — или отошёл в сторону.

Тома замолчал. Лицо у него пошло пятнами.

— Я не могу помочь, — сказал он тихо. — Ты знаешь, что не могу. Если я начну помогать тебе — деревня начнёт говорить и обо мне.

— Тогда отойди в сторону.

Он помолчал. Потом дёрнул вожжи.

— Ладно. Но если что — ты знаешь, где меня найти.

Телега тронулась. Жанна смотрела ей вслед и думала: а ведь он не плохой. Он просто слабый. Как её отец. Как все, кто боится, что о них подумают.

Бертен принял её в кабинете, где пахло чернилами, пылью и старым деревом. Он был худой, сухой, с длинными пальцами и глазами, которые всегда смотрели чуть мимо.

— Мадемуазель Бонне, — сказал он, усаживаясь за стол. — Чем обязан?

Жанна положила перед ним копию расписки.

— Я хочу знать, что можно сделать.

Бертен взял бумагу. Прочитал. Медленно, вдумчиво. Потом отложил.

— Долг в тысячу двести ливров. Залог — участок «Старая лоза». Срок — первое ноября. Всё верно?

— Верно.

— И вы хотите... что? Отсрочку? Пересмотр условий?

— Я хочу знать, есть ли выход.

Бертен помолчал. Потом сказал:

— Выход есть всегда. Вопрос в цене.

— Какой цене?

— Если вы не выплатите долг к первому ноября, кредитор имеет право забрать участок. Но он не может забрать его до срока. И не может изменить условия в одностороннем порядке. Если вы найдёте деньги — или хотя бы часть — вы можете попробовать договориться о продлении.

— У меня нет денег.

— Тогда у вас есть два варианта. — Бертен сложил пальцы домиком. — Первый: найти поручителя. Кто-то, кто согласится выплатить долг вместо вас — или дать гарантию. Второй: продать участок сами. Не кредитору — другому покупателю. Тогда вы получите деньги, выплатите долг, и у вас останется разница.

— Разница?

— Если продать участок за тысячу пятьсот ливров, выплатить тысячу двести — у вас останется триста. Это немного. Но это лучше, чем ничего.

Жанна задумалась. Триста ливров. Это было больше, чем она зарабатывала за год.

— А если я найду поручителя?

— Тогда вы сохраните участок. Но должны будете поручителю. И если не выплатите — он заберёт землю.

Жанна кивнула. В голове было пусто и гулко, как в колодце.

— Спасибо, мэтр.

— Не за что. — Бертен помолчал. — И ещё, мадемуазель. Я слышал, у вас на участке — филоксера.

Жанна замерла.

— Откуда вы знаете?

— В Боне говорят. — Он пожал плечами. — Слухи идут быстро. Если это правда — у вас мало времени. Филоксера распространяется. И если она дойдёт до соседних участков — вас могут обязать выкорчевать все лозы. Или хуже.

— Хуже?

— Соседи могут подать в суд. За порчу имущества. — Бертен помолчал. — И если дойдёт до суда — вы можете потерять всё. Не только землю. Дом. Имущество. Всё, что у вас есть.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось. Не от страха — от чего-то более холодного.

— Что мне делать?

— Бороться. — Бертен посмотрел на неё. — Я не виноградарь. Я нотариус. Но я знаю одно: если вы ничего не сделаете — потеряете всё. Если сделаете — может, потеряете не всё.

Жанна кивнула. Поднялась. Взяла копию расписки.

— Спасибо, мэтр.

— Удачи, мадемуазель.

Вечером она вернулась в Сен-Клер. Усталая, голодная, с головой, полной мыслей. По дороге она прошла мимо своего участка — и остановилась. Та самая лоза, которую она привила, теперь была не просто жёлтой. Листья скрутились, почернели по краям, а липкая жидкость растеклась дальше — на соседний побег, на ствол. Жанна присела, потрогала. Пальцы стали липкими. Пахло сладковато, тошнотворно.

Она выпрямилась. Внутри было пусто. Прививка не помогла. Или ещё не помогла. Или уже не поможет.

Люк ждал её у реки. Сидел на камне, смотрел на воду.

— Ты долго, — сказал он.

— Боне далеко.

Она села рядом. Ближе, чем обычно. Плечом к плечу.

— Что сказал нотариус?

— Сказал, что есть два пути. Найти поручителя — или продать участок сам. За тысячу пятьсот. Выплатить долг, а разницу оставить себе.

Люк помолчал.

— Триста ливров.

— Триста.

— Это немного. Но это лучше, чем ничего.

— Я знаю. — Жанна помолчала. — Но я не хочу продавать. Это земля моего отца. Моего деда. Я не могу просто взять и отдать её.

— Тогда ищи поручителя.

— Кого? У меня нет никого, кто мог бы дать гарантию на тысячу двести ливров.

Люк молчал. Долго. Потом сказал:

— У меня есть метрика.

Жанна повернулась к нему.

— Что?

— Метрика. Если я предъявлю права — я могу получить деньги. Или землю. Или что-то ещё. Я мог бы дать гарантию.

— Люк...

— Я не хочу быть графом. Но я могу использовать бумагу, чтобы помочь тебе. А потом уйти.

— Нет.

— Почему?

— Потому что это твоя жизнь. — Жанна взяла его за руку. — Ты не должен жертвовать собой ради меня.

— Это не жертва. Это выбор.

— Это жертва. — Она сжала его пальцы. — И я не приму её.

Люк смотрел на неё. В лунном свете его лицо было спокойным, но в глазах было что-то, чего она не видела раньше. Может быть, упрямство. Может быть, нежность.

— Тогда что мы будем делать? — спросил он.

Жанна помолчала. Долго. Смотрела на воду. Думала о том, что у неё нет ответа. Что всё, что она может, — это попробовать. И что она устала. И что ей страшно.

— Я не знаю, — сказала она наконец.

Люк ждал. Не перебивал.

— Но я знаю, что не хочу делать это одна. — Она повернулась к нему. — Ты сказал, что поможешь. Ты не передумал?

— Нет.

— Тогда... — Она запнулась. — Тогда давай попробуем. Вместе.

Он кивнул. Потом наклонился и коснулся губами её лба — коротко, легко, будто ставил печать.

— Вместе, — повторил он.

Жанна закрыла глаза. Внутри было тепло. И страшно. И почему-то очень нужно.

Дома она села за стол. Расписка лежала перед ней. Копия. Оригинал был у кредитора. Метрика — у Люка. Филоксера — на участке. И первое ноября — всё ближе.

Она взяла трубку отца с полки. Подержала в руках. Холодная. Погладила — медленно, большим пальцем по чубуку, как когда-то гладил отец. Потом положила на место.

И подумала: может, Клеман прав. Может, участок не потерян. Может, его можно спасти. Привить. Вылечить. Может, и её жизнь можно привить к чему-то другому. К Люку. К Клеману. К земле, которая ещё её.

Завтра она пойдёт к Клеману. Потом — к Люку. Потом — к нотариусу. И будет делать то, что должна. Шаг за шагом. Прививка за прививкой.

Она легла спать и во сне увидела лозу. Старую, корявую, с больными корнями. Но сверху — молодой побег. Зелёный. Живой. И он тянулся вверх, к солнцу.

Глава 7. Старая Маргарита

Маргарита жила на самом краю деревни, там, где кончались дома и начиналась дорога на Бон. Дом у неё был маленький, сложенный из камня, который она сама собирала по обочинам много лет назад, с крышей, просевшей посередине, как спина старого человека. Вокруг дома росла сирень — разросшаяся, одичавшая, с толстыми стволами, — и в конце мая она пахла так густо, что кружилась голова. Сейчас, в августе, сирень давно отцвела, и вместо неё пахло пылью, полынью и чем-то ещё — старым дымом, который, казалось, въелся в стены навсегда.

Жанна шла к ней с утра, неся в корзине хлеб, сыр и горшок с супом. Маргарите было за восемьдесят. Она почти не выходила из дома, и деревня о ней забыла — так забывают о вещах, которые лежат на чердаке: знают, что они есть, но не помнят, зачем. Жанна помнила. Маргарита когда-то нянчила её, когда мать болела, и пела ей песни, которых больше никто не пел. И ещё — Маргарита когда-то служила в замке. Сорок лет. Сначала горничной, потом — старшей служанкой. Она знала всех Монтравелей, живых и мёртвых, и помнила то, что другие предпочли забыть.

По дороге Жанна встретила старого Пьера. Он гнал козу на выпас — ту же самую, серую, с обломанным рогом. Увидев Жанну, Пьер не поздоровался. Только перекрестился — быстро, украдкой, будто отгоняя что-то дурное. Коза заблеяла, Пьер дёрнул верёвку, и они прошли мимо. Жанна смотрела им вслед. В горле стало сухо. Она знала, что это значит. Деревня не просто отвернулась — деревня начала **бояться**. А то, чего боятся, рано или поздно начинают ненавидеть.

Она постучала. Подождала. Потом толкнула дверь — она никогда не запиралась.

Внутри было темно и душно. Пахло воском, травами и немытым телом. Маргарита сидела у окна в кресле с продавленным сиденьем, укутанная в платок, хотя на улице было жарко. Услышав шаги, повернула голову — медленно, будто шея у неё была из дерева.

— Кто там? — спросила она. Голос был скрипучий, как несмазанная петля.

— Это я, Маргарита. Жанна. Дочь Пьера.

— А. — Старуха чуть кивнула. — Пришла. А я думала, ты забыла.

— Я не забыла. — Жанна поставила корзину на стол, вытерла руки о передник. — Я принесла суп. И хлеб. И сыр.

— Сыр от Клемана?

— От Клемана.

— Хороший сыр. — Маргарита усмехнулась, и на лице у неё проступили морщины, глубокие, как трещины в сухой земле. — Он мне его тоже приносит. Раз в месяц. Говорит, что от сыра у меня язык работает лучше, чем от молитвы.

Жанна улыбнулась — впервые за день. Села на табурет рядом. Подождала, пока Маргарита поест — медленно, шамкая беззубым ртом, — и только потом сказала:

— Маргарита, я хотела спросить.

— Спрашивай. — Старуха отставила миску. — Только не про здоровье. Здоровья нет. И не будет.

— Я не про здоровье. — Жанна помолчала. — Я про замок.

Маргарита повернула голову. Глаза у неё были мутные, белые, как варёные, но в них что-то шевельнулось.

— Про замок?

— Ты там служила. Давно.

— Сорок лет. — Маргарита выпрямилась — насколько могла выпрямиться. — Я там всё знаю. Каждую половицу. Каждую дверь. Каждого человека, который там жил и умер.

— А ты помнишь служанок? Которые были до тебя? Или вместе с тобой?

Маргарита помолчала. Долго. Потом сказала:

— Смотря каких.

— Была одна. Сюзанна. Сюзанна Лакруа.

Тишина. Такая, что слышно было, как где-то за стеной жужжит муха. Маргарита не двигалась. Смотрела на Жанну — или сквозь неё.

— Зачем тебе? — спросила она наконец. Голос был другой — тише, суше.

— Надо.

— «Надо». — Маргарита усмехнулась, но без веселья. — Все так говорят. «Надо». А потом оказывается, что надо было не им, а кому-то другому.

— Маргарита...

— Я старая, Жанна. — Она откинулась в кресле. — Я не помню. Забыла.

— Не забыла.

— Забыла.

Жанна посмотрела на неё. В горле было сухо. Она знала этот тон — так говорят люди, которые помнят слишком хорошо и боятся вспоминать вслух.

— Маргарита, — сказала она тихо. — Я не враг. И не из замка. Я просто хочу знать.

Старуха молчала. Смотрела в окно. За окном была пыль и полынь.

— Зачем? — спросила она снова. — Зачем тебе это имя?

Жанна помолчала. Потом сказала:

— Потому что я нашла бумагу. В отцовском сундуке. Метрику. На имя Люка. Сын графа. От служанки Сюзанны Лакруа.

Маргарита медленно повернула голову. В её глазах что-то изменилось — страх ушёл, осталось что-то другое. Может быть, усталость. Может быть, облегчение.

— Так, — сказала она. — Значит, ты нашла.

— Нашла.

— И что теперь?

— Не знаю. — Жанна подалась вперёд. — Поэтому и спрашиваю.

Маргарита долго молчала. Потом вздохнула — тяжело, будто сбрасывала с плеч груз.

— Сюзанна, — сказала она. — Да. Я её помню. Она пришла в замок, когда ей было шестнадцать. Худая, как жердь. Глаза — как у оленёнка. Все мужчины на неё смотрели. И граф тоже.

— Граф?

— Эдмон. — Маргарита произнесла это имя так, будто держала во рту что-то горькое. — Молодой был. Красивый. Пустой. Он смотрел на всех женщин одинаково. Как на лошадей на ярмарке.

Жанна почувствовала, как внутри что-то сжалось.

— И что случилось?

— А что случается? — Маргарита пожала плечами. — Она забеременела. Он сначала делал вид, что не его. Потом — признал. Бумагу подписал. Но в замке её оставить не захотел. Отправил в деревню. К матери. А через год она умерла.

— От чего?

— От кашля. — Маргарита поднесла руку к груди. — Всё время кашляла. Кровью. Тогда это называли чахоткой. Сейчас — по-другому, может. Но тогда — чахотка.

Жанна вспомнила, как Люк говорил: «Она кашляла. Всё время кашляла». И почувствовала, как по спине проходит холод — не от страха, от чего-то более глубокого. Будто она прикоснулась к чему-то, что должно было оставаться закрытым.

— А ребёнок? — спросила она.

— Ребёнка забрали. — Маргарита помолчала. — Я не знаю кто. Может, родня графа. Может, нотариус. Мне не сказали. Я была служанкой. Служанки не спрашивают.

— А ты видела его? Ребёнка?

— Видела. Один раз. — Маргарита прикрыла глаза. — Маленький. Худой. На руках у женщины, которую я не знала. Она уносила его через чёрный ход. Ночью.

— Ты помнишь, как он выглядел?

— Я старая, Жанна. — Маргарита открыла глаза. — Я не помню, что ела вчера. Но то лицо — помню. У него была родинка. Вот тут. — Она показала на шею, чуть ниже уха. — И шрам. Маленький. На подбородке. Он упал, когда учился ходить. Об угол комода. Я сама видела. Кровь шла долго. Мать плакала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.